

АННА

ГОСТИ

—Тут свинки у меня самые и есть... я не отказываюсь, потому я к свиному делу еще как малюсеньки был, то у нас около Риги ферма имелася. И тут завел, конечное дело.

Матвей Мартыныч приотворил дверь сарайчика, На дворе лошадь приезжих, в тележке, сонно жевала сено. Виднелся низенький дом, за ним сад. Несколько кур бродило у входа. Индюшка вяло подняла голову, повернула ее набок, закрыла глаза бледно-фиолетовыми веками и заунывно пискнула. Краснела рябина. По осеннему небу медленно шли облака, Матвей Мартыныч вышел без фуражки — его короткие густые волосы стояли бобриком, квадратным, крепким. Невысокого роста, он был так широк в плечах, что, чтобы войти, повернулся наискось и, приглашая Чухаева и Похлёбкия, держал волосатую руку на скобе двери.

—Все сам строил, чтобы свинкам жить удобно,
чтобы свинкам хорошо, их надо в чистоте держать.

Это все у нас заведено и образовано. Русские ничего не понимают, тут даже и помещики плохенько свинок держат.

—А это, и правда, немецкая морда, — сказал

Похлёбкин, указывая на розовую, осклизлую пиявку с двумя ноздрями, устремленную несколько ввысь, навстречу вошедшим. Белые глазки под желтыми ресницами имели всегдашнее выражение: едва пробуждаемой, мутной сонности. В хлеве было тепло.

Пахло затхло-кислым и острым. Несколько поросят сосало матку. Их нежно-розовеющие тельца, закрытые глазенки со снеговыми ресницами, смутно-сладостное чмоканье, все отзывало первобытно-утробным.

—Это свинья не немецки, это шведская порода— объяснил хозяин.

— Шведская свинка, я люблю ее.

Чухаев, довольно плотный, в гимнастерке и военной фуражке, с фельдфебельскими рыжеватыми усиками, покровительственно хлопнул его по плечу.

—Показывай, Матвей Мартынов, все без утайки. Что у тебя имеется, мы должны в самой точности знать. Служба. Ничего не попишешь. Мы волсовет, а над нами уисполком.

Похлёбкин, брюнет с длинными усами и не вполне чистым лицом, бритый, в обмотках и заломленной фуражке, потянул носом.

—Разумеется дело, что исполком. Там смотри какие черти сидят. С ними шутки плохи.

И Матвей Мартыныч показывал все, на совесть, шведских свиней и русских, йоркширов и беркши-ров, поросят и совсем откормленных, розово-сальных, начинающих прозрачнеть жиром, засыпающих боровов — как бы просящихся уже под нож.

Под конец повел он гостей в подвал, гордость Мартыновки — на цементе и бетоне, с цинковой крышей, глубоко ушедший в землю. Там хранился картофель для свиней и жмыхи.

—Оборотистый ты человек, Матвей Мартыныч, — сказал Чухаев, когда вышли на свет Божий, и корявые пальцы хозяина повернули ключ в

замке. — Ты вполне основательный. Жил бы в своей Латвии да добро наживал бы. Чего ты сюда забрался? Что у нас, тихая жизнь, что ли? У нас, брат, ре-

во-лю-ция! Понимаешь? Мы с Похлёбкиным к тебе посланы твоих свинухов проведать, и тебя под наблюдением держать, там сколько ты в совет должен

и скажем, в исполком, и чтобы число твоих свиней не превышало... па-анимаешь? — как полагается для трудового хозяйства!

Матвей Мартыныч засмеялся.

—Ничего мне плохо не будет, я хороший латыш, я со всеми в миру, и с царскими был, и с советски ми... я все сам, своим горбом нажил, и сам все по строил... Пойдем, Иван Григорьевич, закусим. У меня настоечка одна очень хорошая, мы будем с грибком пробовать.

Через большой двор, за которым глухо гудел осенний ветер в роще, направились они к низенькому неказистому домику Матвея Мартыныча.

—Марточка, вот мы пришли. Так у тебя готов ли гусь, мы уже немножечко устали, нам следует подкрепиться...

Матвей Мартыныч крикнул это из темных сеней в открытую дверь кухни, где жарко пылала печь. Отблески огня легко, таинственно лизали пол, ярко сияли в медных кастрюлях. Худая женщина, в озарении света, резала на столе печенку. Мускулистая ее рука была запачкана кровью.

—Готово, Матвей Мартыныч. Анна, неси рюмки, — обратилась она к высокой и сильной девушке, перетиравшей посуду.

Матвей Мартыныч провел приезжих через низенькую горенку в тоже низкую и темноватую столовую. Стол под грубою скатертью был уже накрыт. Сквозь засиженное мухами оконце все тот же двор, все с той же лошадьё советских. Из другой двери выглядывала двуспальная кровать. У стенки, под портретами каких-то латышей в сюртуках, под группью, изображавшей певческое общество, стоял маленький столик с засохшей чернильницей, бумагами и старыми накладными. На одной бумажке, на которую мимоходом взглянул Чухаев, было напечатано: «Хутор Мартыновка, экономия Матвея Гайлиса». Матвей Мартыныч взял эту бумажку не без гордости.

—Мой папаша был Мартын, и он меня немножко научил трудиться, и мой

сынوك Мартынчик, то я в честь Мартына и назвал усадьбу. Конечно, мартемьяновские мужики недовольные, мои соседи, потому что прежде это было господина Ушакова именице. Я завсегда называлось Мартемьяновка. Но я десять лет

здесь живу, и я могу свой дух заводить.

Анна внесла на подносе несколько шестиугольных рюмок и два узких блюда с груздями и рыжиками.

—А вот теперь-то и за водочку мы начнем, это не то чтобы самогон, от которого глаз пропадает, это водочка из аптечного спирта, на корешке, на лимонных корочках...

Началась проба. Выпивали «раз-два по третьей, и никаких шариков», «еще по одной, и безо всяких рябчиков» — с теми сладостно-бессмысленными прибаутками, которые так любят русские пьяницы и картежники. Пили под огурчик и под груздя, под гусиный пупок. Матвей Мартыныч только фыркал, поводил щетинистыми бровями. Чухаев пил ровно. Похлёбкин быстро замаслился — завивал черный ус, чаще других обращался к Анне.

—Вы у нас редко в Серебряном бываете. А почему? Например, там в Народном доме даже очень интересно.

Ставятся пьесы, ребята танцуют. Да и барышни. Даже Немешаевы и Аркадий Иванович заходят. А я как раз недавно сам на сцене играл, в комедии Островского. Очень смеялись.

—В этот раз не пришлось быть, а вообще бываю, — ответила Анна. — И с Немешаевыми встречаюсь, с Леночкой и Мусенькой... и с Аркадием Ивановичем.

Она произнесла эти слова как-то полно, но туго, точно бы вообще отвыкла разговаривать. Темные и довольно густые ее брови, близко сходящиеся, давали лицу несколько суровое выражение, сквозь которое прорывался, однако, яркий и тайный блеск. Карие глаза глядели замкнуто. Вряд ли в них было много откровенности. И даже смугловатый румянец на щеках не особенно веселил. «Девка первый сорт, — без слов, всем существом подумал Похлёбкин. — Сумрачная девка, а хороша. Откуда такую, раздобыл латыш?»

—Анна Ивановна, вам разрешите нацедить?

—Налейте, — сказала Анна и протянула средней величины стаканчик. На половине его Похлёбкин приостановился. — Не жалеите, наливайте полный.

Я не опьянею.

И, открыв рот с очень белыми, крепкими зубами, медленно выпила все до дна.

—Кушайте гуся, еще по кусочку, вот тут с капусткою, — говорила гостям Марта — ее жилистые очень сухие руки мелькали во всех концах стола. Матвей Мартыныч занялся Чухаевым. Они сидела на уголку и беседу вели серьезную.

—Ты, Матвей Мартыныч, то должен понять, какое теперь время, —

говорил Чухаев вполголоса, медленно и внушительно — он сильно уже выпил, глазки стали красны, но держался, как иногда пьяные, — еще солиднее, чем трезвый. — Ты позабывать не можешь, что теперь ре-во-лю-ция, как я тебе

уже доложил. Погляди на меня. Я второй по зажиточности во всем Серебряном, у меня и земляца, и пчельня, и лошадки, и живность, то-се, другое-третье, да я не дурак, чтобы всем этим гусей дразнить.

Я, может, и тебя не бедней, но должен, — он совсем понизил голос, — себя пред односельчанами в аккурате держать. И держу. Все лишнее норовлю спустить — коровенку ли, лошадь, да и мучку, мед, все обменять стараюсь... ну, а знаешь, иной раз и приедем на деньжонки продашь, а потом их в Москве на доллара обменяешь... Теперь, брат, не спекульнул — то и дурень. Ты же подумай, свиньи-то твои какие... Про тебя вся округа знает, что, мол, у мартемьяновского латыша такие свиньи, что и прежнему времени впору... Мой тебе приятельский совет, ты как-нибудь, это, тово... сокращайся, Матвей Мартыныч, ну, свинушку спустил, деньжонки под половицу или в подвале закопал, и шито-крыто...

— Выпьем еще, от хорошей водочки только умней будешь, да ты и так умный, я тебя как хороший человек всегда уважу, — говорил Матвей Мартыныч. — А я честный латыш, я против новой власти ничего не имею, я завсегда готов для ней того-другого... Я уже велел Марте в тележку один окорочек под сиденье — там крышка приподымается -гусей парочку в корзинку... а твой товарищ, кажется, охотой занимается? У меня дробь очень хороший есть, совершенно прежний дробь, и порох для патронов... вот так, эта водочка на особом корешке. А за добрый совет спасибо.

Гусь у Марты оказался знаменитый. Трудно было оторваться. Приезжие старались на совесть. Лица покраснелись, губы и даже щеки лоснились, на черном усе Похлёбкина так и засела недоеденная шкурка. Сквозь два небольшие же оконца глядел со двора угасающий осенний русский день, когда вечерняя заря не горит над горизонтом, ровны серые облака на небе, буреет в поле копенка вики неубранной, ветер треплет картофельную ботву, да вдалеке одинокий жеребенок, тоненький, длинноногий, призраком стоит — а вдруг тонко заржет, распушит хвост и ветерком понесется домой. Смутные сумерки обозначились, когда Анна вышла на двор, своею крепкой походкой. Взяла ведро, направилась к колодцу, куда ходила каждый вечер. Из хлевов сонно хрюкали свиньи. Куры сидели уже на насестах, гигантский вяз хмуро бурел над домиком Матвея Мартыныча. Анна шла, слегка опустив голову, нагруженная своим одиночеством. Тайно, сладостно было на сердце. Удивительно чувство укрытости. Пусть там допивают водку и заедают ее мятными пряниками, тот мир ушел, начался новый. В нем некоторые слова, предметы, дни, звуки имеют магическое значение. Одно из таких магических слов она выпустила сегодня на волю, оно странно и чудесно отдалось в столовой «экономии Матвея Гай лиса», а теперь шло за нею и с нею, как

живое существо. Самый звук его был необыкновенен.

В это время приезжие грузились в свою тележку. Чухаев держался крепче, Похлёбкин едва двигал ногами. Через плечо у него был надет ягдташ, а на другом боку пороховница. В руке он держал мешочек с дробью — очень тяжелый и очень для него радостный. Он слегка раскачивал его и хлопал им себя по коленке. Матвей Мартыныч отвязал лошадь, взнуздal ее и подал вожжи уже сидевшему Чухаеву. Похлёбкин держался за Чухаева, обняв его.

— А ты хороший человек, Матвешка, ты человек сердечный, хотя и нерусский, — кричал Похлёбкин. — Я тебя люблю. Я... хочу тебя целовать. Матвей Мартыныч захохотал, Чухаев тронул лошадь.

— Я хорошим гостям завсегда рад — говорил он, идя рядом. — А тут, Иван Григорыч, у корзиночке сзади пара лучши гусь. И окорочек.

Чухаев пожал ему руку. Тяжелобрюхий конь, конюшни Немешаевых, взял вялой рысью. Тележка пересекла большой двор, повернула направо по дороге через рощу. К ее опушке, где у канавы, окружавшей прежнее имение Ушакова — ныне хутор Мартыновку, — был колодезь, шла Анна, опустив голову, считая шаги. Через каждые пять шагов она произносила про себя одно слово. Никто не слышал, никто не знал и не мог даже вообразить, о чем она думает. Это доставляло ей таинственную радость.

Тележка загремела совсем рядом. Чухаев слегка приостановил коня.

— Паз-звольте спросить, — произнес он не вполне твердо, — тут ка-ак будто летничек у вас есть на Машистово, прямиком... ес-ли не ошибаюсь, налево?

Занавес поднялся, Анна опять оказалась на сцене.

— Первый поворот, около обгорелой ракиты, — сказала она.

— Покорнейше благодарим.

— Если бы не темнело, то можно и не заезжая в Машистово, там есть пешеходная тропка, по ней тоже ездят..., прямо бы выехали к Серебряному...

Похлёбкин, покачиваясь, замахал ей и послал воздушный поцелуй, Чухаев стегнул коня, и тележка вновь загремела. Анна опять осталась одна. Она подошла к колодезному срубу, около которого была свеженатоптана глина, зацепила ведро за крючок и медленно стала спускать его. Ведро кое-где толкалось о сруб, позвякивало, дальше и глуше уходило в его осклизлую темь, сейчас казалось — в бездну. Потом шлепнулось о воду. «Серебряное... — шепнула Анна. — Машистово...» Ведро булькало. Она подождала минуту, потом налегла на отяжелевшую веревку, стала тащить. Заметив темный пушок на своей руке от локтя к запястью, вспомнила что-то и вновь, улыбнувшись слегка, как в колодезь, ушла в свое подземелье.

Темнело. Вдалеке гроыхала еще тележка. Анна вытянула ведро, поставила его и присела рядом на срубленную осинку, от которой горько и нежно пахло свежим соком, ободранной корой. «Сейчас, наверно, Леночка и Муся играют в карты в гостиной, а Аркадий Иваныч, по обыкновению, у них, курит или играет на гитаре». Она посидела минуту, потом встала. Темнота надвигалась. Анна закрыла глаза,

выпрямилась и, взяв ведро, слегка наклоняясь вбок от его тяжести, пошла домой.

* * *

— Я очень рад, что у нас были эти советски, — говорил Матвей Мартыныч, отстегивая голубую подтяжку. — Теперича они уехали веселы, и Матвей Мартыныч так устроит, что они будут еще веселей, Матвей Мартыныч понимает, что иной раз и свинку не жаль для порядочных людей, хотя, разумеется, они и сволочь, но свинка и-всех и-делает добрыми... ха-ха-ха...

Анна убирала остатки еды. В столовой пахло водкой, гусем, скатерть залита была жирным, и воздух тускл, тоже жирен в слабом свете висевшей над столом лампы с коническим пламенем. Марта, полураздетая, возилась в спальне.

— Мы их хорошо угостили, — сказала она. — Матвей Мартыныч, как ты нашел гуся?

Матвей Мартыныч налил себе в столовой воды, икнул и жадно выпил. Бархатная, темная шерсть курчавилась под глубоко расстегнувшимся воротом его рубашки.

— Марточка, гусь был хорош. Анна, ты почему мало ел гусь? Ты здоровая девушка, ты и-должна хорошо кушать.

— Я, дядя, довольно съела. Правда, гусь отличный.

Матвей Мартыныч положил ей на плечо свою четырехугольную руку с короткими пальцами. Небольшие глазки его блеснули.

— Хороший девушка, работай, трудись. Кончится все, я тебя замуж выдам, за солидного человека, сама хозяйство будешь вести, тебя муж будет любить.

Он нагнулся к ее уху и вполголоса шепнул:

— Ты для мужчины сладкая, как гусь с брусникой.

Анна слегка усмехнулась.

— Меня только съесть не так легко, как гуся...

Матвей Мартыныч захохотал.

— Матвунчик, — крикнула из спальни Марта, — Иди загляни, как хорошо спит Мартын.

Матвей Мартыныч вошел в спальню, где в маленькой кровати спал законный, от честного брака, Мартынчик, такой же здоровый и веселый, как овсам, тот, для кого вот он трудится в поте лица и кому — когда «все это» кончится — передаст годами нажитое, наработанное.

Марта стояла у кровати. Свет свечи с комода освещал мальчика со светлыми волосами, миловидного, с прозрачными, и, как это бывает у спящих детей — жалкими веками, всегда придающими грустное выражение.

— У-у, миленький Мартынчик, — сказал Матвей Мартыныч, и его квадратное лицо сразу распустилось, стало мягче и влажней. — Какой

красавчик лежит, ты не находишь, Марта?

Марта взяла с комода свечку, чтобы получше осветить свое творение. Ее худое, довольно красивое лицо с темными глазами и очень крупными, малиновыми губами содрогнулось от восторга и гордости. Матвей Мартыныч нагнулся, щекоча лоб ребенка усами, дыша на него перегаром выпитого, и поцеловал в лоб. Мальчик во сне поморщился, потянулся и, стягивая с себя одеяло, перевернулся на другой бок, обнажив плечо. Марта мгновенно укрыла его.

—Хороно, хорошо, — сказала она мужу. — Мартынчик здоров, и все в порядке, но не мешай ему своими нежностями.

Окончив уборку, Анна поднялась наверх, в маленькую комнатку. Вот день и кончен. Она разденется, потушит свет, перекрестится и растянется на скромном, жестковатом своем ложе. Сон накроет ее. Настанет таинственный мир, в который мы еженочно — и так привычно, без ужаса! — погружаемся, как дай Бог погрузиться в смерть.

На этот раз она не успела ещё заснуть, как на лесенке раздались осторожные шаги человека в туфлях.

—Анночка, — сказал негромкий голос, слегка глухой. — Ты уже спишь?..

—Нет. А что?

—Я тебе забыл сказать.., нужно будет у Серебряное съездить. Немешаевы просили двух пороееночков, там они хотят выкормить.

—В Серебряное... когда же?

—На эти дни, на эти дни...

—Завтра?

—Не так завтра, как придется этой недели.

—Зачем же ты сейчас пришел об этом говорить?

Матвей Мартыныч побурчал что-то и посопел.

—Я и думал, ты еще не спишь.

Анна привстала на постели.

—Иди, иди, ступай, выпил сегодня много.

Он слегка приблизился. В темноте она его не видела, но, найдя его руки, крепко взяла их, сжала, шепнула повелительно:

—Ступай.

В этих ее руках почувствовал Матвей Мартыныч такую силу, точно огнем прохватило его.

— Я ничего... я, не подумай, Анночка, ты не тово... я тебя редки вижу.

Анна тихо засмеялась.

—Каждый день.

—Мне не заснулось, я только тебя по делу и хотел видеть без никого.

—Ну вот и иди. А то Марта Бог знает что подумает. Значит, в Серебряное? Хорошо.

Когда он вышел и осторожно спустился, Анна притворила дверь, вновь

легла. Ее прохватила легкая дрожь. «Вот он, дядя. Ну, да, впрочем... ничего плохого он мне и не делает».

Все-таки она несколько разволновалась, заснуть сразу, как обычно, не смогла. В голове вертелся весь нынешний день, приезжие, потом этот странный разговор сейчас — к своему удивлению, никакой неприязни к Матвею Мартынычу она не ощущала. «Мишка, медведь... — сонно подумалось. — Косолапый». Но потом иные слова встали в мозгу — ехать в Серебряное. «Серебряное, Машистово...» Да, хорошо, вздохнула она как бы со сладкой покорностью. Слеза поползла в темноте по загорелой щеке. Матвей Маргыныч, хутор, хозяйство — это все пустяки.

В сущности, никаким дядей Матвей Мартыныч ей не приходился. Отца она вовсе не помнила. Но знала вотчима. Мать плохо жила со вторым мужем. Анна от него не терпела, но в мешанском домике среднерусского городка, где мать служила на почте, а вотчим мелким страховым агентом, видела и ссоры, и пьянство, и даже драки. Нечем было бы ей помянуть детство! Да оно и рано кончилось. Мать умерла. Марта, дальняя родственница со стороны матери, тогда только что вышедшая за Гайлиса, взяла ее к себе, увезла под Ригу. Там Анна жила и училась, привыкла звать Матвея Мартыныча дядей, а Марту тетей — вошла, как-то боком, как боком жила и в детстве — в семью. Кончив школу, с ними же перебралась и сюда, когда Матвей Мартынович снял хутор — не то родственница, не то дочь приемная, не го прислуга. Она молча работала, молча спала и молча ела и считала, что живет так — значит, иначе и не приходится. Не о чем думать, нечего мудрить. За стенами мартемьяновского хуторка бесконечные поля, лесочки и овраги, деревни, села, города необъятной России. Мир велик, недосягаем, грозен в мрачной своей силе. Вот и сейчас долгая ночь над ним. Глухим, дочеловеческим гулом гудят березы по канаве за хутором. Спит Матвей Мартыныч, и Марта, и Анна, и свиньи в хлевах, и индюшки, и куры. Петух, тайным зовом пробужденный, прокричит в свой час ранний, горький сигнал к свету — а еще звериная темнота над землей. Люди его не услышат.

Но в городке над Окой именно вот теперь подымается, зажигает свет в своей лачужке у реки некто Трушка, известный и уважаемый человек, имеющий связи и в у-те-че-ка и в ор-те-че-ка, как ранний утренний петел, он начинает свой день, ибо дел много, а жизнь коротка, всех недорезанных, правда, не зарезать, и всех неограбленных не ограбить, все же нельзя лениться, ре-во-лю-ция — какое время! Грех его упустить.

СЕРЕБРЯНОЕ

Анна несколько запоздала. Уже смеркалось, латунная, холодная заря узко лежала вдали, над синевшими лесами. Лошадь плелась рысью. В корзинке повизгивали поросята, колеса тележки шли по неровной колее, сухие травы ошмурыгивали их. Пахло горько и остро полынью, шлейф, лошадь, прохладой сумрачной осени. Над купою парка вздымалась колокольня Серебряного — перерезала зарю. Анна проехала мимо кладбища, мимо канавы старинного парка с голыми липами, где грачи орали сложно, мучительно,

взвиваясь в небе медленными водоворотами, и остановилась под елочками у большого белого дома. Его стеклянное парадное крыльцо было заперто. Анна привязала лошадь, вынула корзинку с поросятами, и, тяжело ступая грубоватыми сапогами, двинулась к черному входу, где стояла бочка, бродили утки, валялись отбросы. В кухне никого не было. Анна поставила корзинку на пол, отворила дверь в коридор и почти столкнулась с черноволосой, черноглазой девушкой в красной кофте, легкою походкой входившей в кухню.

—Аня, — засмеялась она, — в платке, высоких сапогах! Каким вы нынче героем!

—Я привезла Марье Гавриловне поросят, Матвей Мартыныч извиняется, что задержался, все некогда было...

—А-а, Мартыновы поросята... вы там все у себя свиней разводите, ха-ха-ха... — Леночка засмеялась весело и от души, точно разведение свиней вообще

казалось ей очень смешным делом. Быстрой походкой подошла она к корзинке и приблизила к ней карие, несколько близорукие глаза.

—Ха-ха, вот они, Мартыновы детишки, хрюкалки! Чудные. Ну, пойдете к нам, как раз чай подали.

И Леночка той же легкой и беззаботной походкой, поправив слегка платок, накинутый сверх кофты, прошла коридором в темную и холодную прихожую, из нее толкнула дверь в большую комнату, где за чайным столом сидело несколько человек.

—Мама, Аня привезла от Мартына поросят. Знаешь, там эти мордышоны.

Анна сняла в передней свиту, сунула в карманы ее рукавички и несколько угловато вошла в комнату Марьи Гавриловны, наспех теперь обращенную в столовую. Марья Гавриловна, спокойная, кареглазая дама лет сорока пяти, с небольшой проседью, курила из мундштука и к известию отнеслась равнодушно.

—А-а, — сказала она, и выпустила изо рта поток дыма, — давно жду. Мы их выкормим.

Самовар на столе сильно клубил. Окна начали запотевать. Однако в два большие, выходявшие в сад, с далеким видом за реку, глядело умиравшее холодно-серебряное небо сквозь голубые ели у балкона — ели редкостные, калифорнийские. Спиною к заре сидел за столом высокий человек в поддевке, с длинными усами, рядом с ним Муся и барышня с колечком зачесанными на щеки прядями.

Сердце Анны привычно похолодело, она молча поздоровалась со всеми, села к Марье Гавриловне. Но бледный, серебристо-синеющий свет зари, удивительные колечки на щеках барышни и крупное, как показалось ей, равнодушное рукопожатие Аркадия Ивановича вдруг поразили ее.

—А вы там все со своими свиньями возитесь, — сказала Марья Гавриловна почти дружелюбно. — Вот уж ваш дядюшка поразвел... ха-ха... Ну, что ж, он с меня по знакомству, надеюсь, за поросят возьмет подешевле?

Анна с ненавистью смотрела на свои крепкие, красные руки, от которых

пахло вожжами и дегтем. Никто не видел теперь ее высоких сапог, но ей казалось, что все только о них и думают.

Леночка подошла сзади к Аркадию Ивановичу и взяла его за кончики усов.

— Аня, посмотрите на размеры этих дворянских усов, это у тебя барские усы, Аркаша, ха-ха-ха... а теперь время знаешь какое, теперь нас вот, того и

гляди, отсюда выставят. Могут сжечь, вообще, что угодно, потому что мы баре.

Аркадий Иванович поймал руку Леночки и поцеловал около локтя.

— Я, милый друг, барином жил, барином помру, меня поздно переделывать. Где моя гитара? — обратился он к барышне. — Вы, малютка, кажется, ее

где-то в зале оставили?

Он поднялся.

— Пока нас окончательно не доконали, я намерен жить так, как мне нравится. Зала еще есть — хорошо. Камин там топится прекрасно. Марья Гавриловна, я знаю около трехсот романсов, главным образом цыганщина.

Он улыбнулся своим темно-загорелым лицом, привычно подкрутил ус, поправил кавказский пояс, стягивавший еще приличную талию, и вышел с барышнями в залу.

«Почему она ко мне обратилась насчет его усов? — мрачно подумала Анна. — Я тут при чем? Да хоть бы самые раздлинные, какое мне дело?»

В комнате быстро темнело. Папироса хозяйки покраснела в сумеречной мгле. Марья Гавриловна говорила привычно и длинно о том, сколько ей возни с птицей, как трудно с советом, как беззаботны девочки... впрочем, и сама она больше курила и философствовала, чем беспокоилась серьезно.

Да и как могло быть иначе? Такой тон раз навсегда был задан покойным Александром Андреевичем для всей семьи. Александр Андреевич случайно получил наследство. Не он строил этот дом, не он разводил парк и сажал под балконом голубые ели. Все это свалилось ему с неба. Но нельзя сказать, чтобы он не пользовался полученным. Всегда в Серебряном были гости, шум, широкая жизнь. Даже кучера немешаевские редко бывали трезвы, и немешаевские выездные лошади, в отличных шарабанах и колясках, не раз носили, выбрасывали седоков в лощинках под разными Спицынами, Рытовками и Лунёвками. Александр Андреевич любил гостей, танцы, музыку, вино, и всего этого было вдоволь. Деньги он раздавал направо и налево. В трезвом виде был общителен и весел, ходил летом в длинных чечунчовых пиджаках, широчайших коричневых штанах и дорогой панаме, напоминая президента Фальера. Читал «Русские Ведомости» и путано, умеренно свободомысленно говорил о политике. Но, выпив, становился де, сдержанно-дерзким. Это мешало ему в земской деятельности. Он раздражался и еще больше будировал

Грудная жаба вовремя увела этого видного джентльмена — до революции

он не дожил. Блюдо досталось Марье Гавриловне и молодежи. Захват земли, скота, переход на положение крестьян — ежеминутно могли и вовсе выгнать — все это для других обратилось бы в глубокие страдания. Немешаевым помогала беспечность.

— Большевички забирают у нас все помаленьку и полегоньку, — говорила Леночка, и хохотала, и даже находила время слегка кокетничать с заезжими коммунистами. — Скоро нас загонят в какой-нибудь хлев... ха-ха-ха...

Марья Гавриловна выражалась осторожнее, но тоже смотрела — ну что же, было богатство, считались первыми в уезде — и нет его, ничего, как-нибудь проживем. И действительно, жили. Двоюродный брат Костя, застрявший у них, основал маленькую артель, сам пахал и скородил на отведенном наделе, Леночка и Муся тоже работали больше, чем раньше, но по-прежнему хохотали. И когда приезжали оставшиеся соседи, играли в карты, дурили и танцевали — из большого дома их все еще медлили выселять.

Так протекал и сегодняшний вечер. Аркадий Иваныч в прежние времена приезжал из Машистова, в двух верстах, на паре в наборной сбруе, с кучером в плисовой безрукавке. Теперь ходил пешком, но так же держался молодцевато, как и в уездном городке на земских собраниях, на(обедах у предводителя и за биллиардом в гостинице.

Сейчас, в большом зале немешаевского дома, сидя на диване, окруженный барышнями, он пел «В час роковой» — небольшим, верным голосом, аккомпанируя себе на гитаре, совсем так же, как и тогда, когда чай не пили еще с сахаром вприкуску, когда не было роскошью мясо, и эта зала освещалась очень ярко. Важно лишь то, что вокруг, как и прежде» были женщины. Мусю и Леночку он знал еще детьми. Но заезжая их кухня с колечками волос на подрумянных щеках, в легоньких туфельках и шали действовала освежительно.

Когда Анна вошла в залу, пение уже кончилось. Кухина держала в своей руке руку Аркадия Иваныча рассматривала линии судьбы и, улыбаясь, говорила ему что-то.

— Ну, да все равно, от себя не уйдешь, — сказал Аркадий Иваныч. — В благодарность за гаданье разрешите вашу ручку.

И он поцеловал ее пальцы.

— Ане погляди руку, — крикнула кухне Леночка. — Вон она у нас какой герой могучий, пожалуйте-ка сюда!

Сапоги Анны довольно явственно отдавались в зале. Теперь все их действительно видели. Она покраснела и спрятала руку.

—Ну, уж мне незачем.

—Отчего же, — сказала кухня ласково. — Я с удовольствием. Дайте мне вашу руку.

—Нет, благодарю вас, — так решительно ответила Анна и села рядом с ней на диван, слегка скрипнувший, что та с некоторым даже недоумением на нее взглянула. Аркадий Иваныч опустил глаза. Но Леночка захохотала, обняла ее.

—Аня, не мечите молний своим черными глазами, все и так знают,

что вы прель-стительны... Женя, — обратилась она к кухне, — Аня у нас тут первая львица, несмотря на ее... суровый вид. Давно замечено об этих тихих омутах...

—Что вы говорите, Леночка, — сказала Анна глухо, — я просто работница...

—Ну да, однако же... — Леночка взглянула на Аркадия Ивановича и опять засмеялась.

—Да вот у нас сегодня был Похлёбкин. Прямо ваше завоевание!

* * *

Кухина села за рояль, начались танцы. Приехали ещё два недорезанных помещика. Танька накрывала к ужину, Муся и Леночка танцевали. Прошелся вальсом и Аркадий Иванович, и Костя, и кухня, сменная Марьей Гавриловной. Анна же сидела на диванчике упрямо, сумрачно, чувствуя, что давно пора ехать и нет сил встать. С Аркадием Ивановичем она не сказала ни слова. Два раза пробовал он заговаривать с ней, ничего не вышло. «Ну, опять», — подумал про себя. Анна отходила теперь от него, почти физически он ощущал в ней тучу темных, нервно-электрических сил, противостоять которым невозможно. Он все знал заранее, но с какой-то горькой легкостью, будто нарочно, играл в веселость.

Было уже довольно поздно, когда Анна вышла к лошади. Кто мог бы сказать, что она поступила умно, просидев до полуночи, выезжая одна в черную, ветрено-беспросветную ночь? Но она именно так поступила, а не иначе — хотя ей и предлагали ночевать.

Лошадь тронулась. Из-под елок со стороны светившегося в темноте дома выступила высокая фигура с огоньком папироски. Большая рука взялась за крыло тележки, и знакомый, столь знакомый голос сказал:

—Подвезешь меня?

—Садитесь. — Огонек переместился, теперь он был несколько выше Анниной головы. Тележка накренилась.

Ехали дорогой мимо парка, шагом. Ветер гудел в лицах. Иногда ветка задевала за дугу, слегка хлестала сидевших. Огни усадьбы остались сзади. Колокольню церкви нельзя уж было разобрать в кромешной тьме. Но кладбище ощутила Анна горьким, широким дуновением.

—Ты все на меня сердисься? — спросил Аркадий Иванович. — Вот народец-то! Дай мне вожжи. А сама хорошенько запахнись, и руки — рукав в рукав свиты.

—Вы вольны с кем угодно шутить и кого угодно любить.

За свою бурную, многоопытную жизнь Аркадий Иванович не раз слышал эти и подобные им слова. Относиться к ним привык как к неизбежному неудобству. Но сейчас стало действительно грустно.

—Аня, — повторил он мягче, — да ведь что же ты. правда... ну, я болтал там, на гитаре играл... что же такого? Правда, жизнь сейчас невеселая,

неужели и поохотать нельзя?

В поле ветер задувал сильнее. Лица Анны нельзя было рассмотреть. Но сквозь свое смутное уныние ясно ощущал Аркадий Иваныч рядом с собой черную тучу. Туча молчала. Разряда не было. На каком-то толчке Аркадий Иваныч слегка охнул.

— Вот, — сказал тихо, — все в почку отдает.

— Будете с Похлёбкиным самогон пить, еще не то наживете.

Когда подъезжали к Машиетову, Анна взяла у него вожжи.

— Что ж ты одна в такую темень поедешь? Я бы тебя проводил...

— Слезайте, — сказала Анна. — Ничего со мной не случится. Не маленькая.

Аркадий Иваныч вздохнул и слез. Обойдя тележку, хотел на прощание обнять и поцеловать Анну. Она его оттолкнула.

— Целуйтесь с барышнями. От меня хлебом пахнет.

— Сумасшедшая, — вслух сказал Аркадий Иваныч. — Совсем ты полоумная.

— Ну и слава Богу, что полоумная, — крикнула Анна и дернула вожжи.

Аркадий Иваныч хмуро зашагал новым садом к себе в именице, Анна же погнала лошадь домой. Вынула кнут, несколько раз хлестанула коня. Он рванул галопом, потом пошел крупной рысью. Тележку подкидывало. Она гремела в пустынных полях, где все было — зловещий мрак. Ветер гнал ее. Анне нравился этот глухой грохот. Ей нравилось также стегать коня, она из всей силы вновь вытянула его раза два — он тяжело и свирепо брыкнул задом, опять помчал. Дух захватывало. Что же, чудесно! Пусть вывалит ее под буерак, стукнет в темноте тяжелым колесом по виску, да покрепче... Сердце болело, но в самой боли была раздирающая сладость. Страшно, как страшно», — могла бы сказать Анна, но мыслей и слов в голове не было, просто кипело в глуби. Так, десятилетней девочкой, после того, как вотчим схватил мать за волосы и ударил о край стола, стояла она ночью, в одной рубашонке у раскрытой в метель форточки, вдыхала ледяной воздух и молила послать ей смерть.

Никто не встретился ей в полночный час. Лишь собаки залаяли, когда взмыленный конь подкатил к Мартыновке. По двору двигался огонек фонаря.

— Я было и заснул, да и встал, что тебе долго нет, — сказал Матвей Мартыныч. — Слышу, собаки лают, думаю, наверно, это Анночка приехал.

Он помог ей распрягать лошадь. Анна говорила быстро и возбужденно. Можно было подумать, что она несколько пьяна. Когда выходили из конюшни, Матвей Мартыныч вдруг обнял ее. Анна засмеялась, слегка его отстранила. И присела на край стоявшей у ворот бочки. Он крепко поцеловал ее в шею, около уха.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Хутор Мартыновка по своему хозяйству стоял, конечно, выше

окружающего — Матвей Мартыныч мог гордиться.

Земли при нем было немного, поле давало главным образом корм свиньям — всякие свеклы, картофель, красные клевера, репу. Свиней держали в большом порядке — этим заведовали Анна и Марта. Действительно, их мыли, постоянно чистили хлев и закуты, кормили с правильностью клиники — трижды в день.

Матвей Мартыныч всегда был доволен и собою, и окружающим. Он похлопывал боровов и поросных свиней с тем же ощущением полного довольства, как и свою жену. Все казалось ему в благополучном свете. В центре мира стоял он сам, «хороший латыш», Матвей Мартыныч, который все знает и все понимает, так что спорить с ним бесполезно. С великим благодушием резал он собственноручно тех же самых боровов, за весом и здоровьем которых следил при жизни их с такой любовью. Он и резал с любовью. Они жили для его, Матвея Мартыныча, целей, он на них трудился, пропахивал для них картофель, косил овес, просо, ездил вдаль за жмыхами — он же распоряжался и их жизнью. И это было так. Это было хорошо.

Анна и Марта выхаживали поросят. Этой осенью у каждой было по опоросившейся свинье — у Анны Матрена, у Марты свинья называлась более поэтически — Люция, это напоминало чем-то, отдаленно, Марте родину — и нравилось. Впрочем, Марта меньше всего была склонна к сентиментальности. В ее жилистых руках, красивых глазах и несколько странно-большой груди всегда Анне казался особый холод. Марта тоже иногда резала свиней, и тоже удачно. Единственный человек, которого боялся и перед кем отступал Матвей Мартыныч, была именно Марта.

—Ты, Анночка, очень хороший девушка, — говорил он, — но тебе никогда так матрешкински их невыкормить, как люцински их Марте.

—Ну и не выкормить, — отвечала Анна, — и шут с ними. Все только под нож, в одну утробу.

—А, ты не понимаешь, ты всегда со своими словами. Тебе бы только зря кормить, что тебе потом, с ними в розовую мордочку целоваться?

—Не знаю, что мне с ними делать, а только радоваться нечему. Ну, поросята и поросята. И в конце концов зарежут их.

Против этого возражать было бы трудно. Вот и теперь, розовые детишки Матрены, в первые дни своего бытия полуслепые, смутно тянувшиеся только к сосцам матери — именно они-то и предназначались к убою, и как раз их Анна отняла на четвертой неделе от матери, тогда как Мартину Люцию все еще сосали. Это произошло через несколько дней после того, как Анна возвратилась из Серебряного. Матрена, запертая в одиночестве, сумрачно хрюкала, толкалась из угла в угол, подымая белесое рыло и вопросительно поглядывая жалкими глазами с белыми ресницами. Отнятые поросята бессмысленно топтались, повизгивали в другом хлеву. Анна налила им в корытце молока с овсянкой и долго смотрела, как они беспомощно совали туда рыльца. «Ешьте, ешьте, хорошо еще, что ничего не понимаете! Вот так-то — ну, иди». — Она слегка подтолкнула носком сапога одного отбившегося,

направляя его к корыту.

Они чмокали, но вяло. Анна смотрела на них пристально, внезапная тяжесть ждала ее сердце. Не дожидаясь, пока они доедут, она вышла из закутки.

Был солнечный день, редкость в начале ноября. Бледный свет лежал на цинковой крыше Мартынова подвала, пеструю тенью одевал стоявшую телегу, растворенные ворота сарая, глубина которого была полна тьмы, лишь кое-где прорезаемой узким лучом сквозь щель. Пахло такой крепкой настойкой осени, в нежной лазури так пронзительно трепетал золотой, к удивлению еще не облетевший лист яблони за домом, что Анна на минуту приостановилась, глубоко вздохнула, потянулась. Боже мой, как хорошо! Даже слезы выступили. Как хорошо и как безмерно грустно! Разумеется, она сумасшедшая, в ней дикая кровь, что она натворила тогда, как себя вела! Все это вздор. Вот если бы он тут сейчас был, если бы взялся рукой за эту дверь, она поцеловала бы место, где была рука, и, наклонившись к земле, к этой сухой уже, мертво-коричневой траве, тоже ее поцеловала бы. Что сделать в ясный, терпко-колкий день ноябрьский, когда чувствуешь, что молод, силен, любишь, когда так ужасно хочешь счастья... Закричать, запеть? Хорошо бы это приняла Марта, Матвей Мартыныч!

Марта как раз выходила от своей Люции. За руку вела маленького Мартына, шла спокойно, в теплой вязаной кофте, особенно выдававшей ее большую грудь. Карие глаза смотрели пристально, скорей сочувственно. Увидев незапертую дверь хлева с поросятами, Марта заглянула туда.

—Свинушки, — сказал мальчик и протянул руку в сторону поросят.

—Свинушки, свинушки, — повторила мать. — Вырастешь большой, у тебя будет тоже много свинушек.

—Ба-альших! — сказал мальчик важно.

—Ба-альших! — повторила Марта. Красивые ее глаза зажглись гордостью. Мартын разрастался в них из маленького латышского мальчика в некоего героя поэмы — так могла бы объяснить Марта, если бы знала, что такое герой и что такое поэма.

Но пока что она сказала Анне:

—Там поросята не доели. Зачем же ты лишнее наливаешь? Как полагается: сколько им нужно, столько и давай.

— А? — переспросила Анна.

Марта посмотрела на нее с недоумением. Холодный огонек слегка блеснул в ее глазах.

—Ты же ведь отлично знаешь, о чем я говорю.

— Ах да, конечно...

Анна вдруг стала поправлять себе волосы — темный завиток выбился из-под туго завязанного на голове красного платочка. Черные, большие глаза были полны отраженного блеска и дрожи. В ее движениях и виде все показалось неприятным Марте, точно бы раздражало.

—Что это, правда, ты...

—Я сейчас уберу, — сказала Анна и быстро направилась вновь к хлеву.

Марта тоже действовала на нее странно, нельзя сказать, чтобы радостно,

хотя дурного она ей ничего не делала. Анна привыкла считать ее не то хозяйкой, не то старицей родственницей, но жилистые, очень крепкие руки Марты и ее губы вызывали легкую как бы тошноту. Марта была чиста телом, Анне же казалось, что от нее пахнет мясом. Ощущение это было внеразумно и даже таинственно, но неприятно.

Анна быстро убрала остатки овсянки, подмела, подчистила в хлеве, довольная теперь, что она одна, довольная даже и тем, что прядь волос, слегка курчавившихся, вновь выбилась из-под платочка. Она улыбнулась — хорошо было то, что опять появился Аркадий Иваныч (он любил эту прядь!), Аркадий Иваныч во весь свой огромный рост, с большими мягкими руками, в поддевке, могучих усах, свободно присутствовал, как некий живой великан, в этом хлеве. Он зажигал удивительным светом косые полосы из оконца, благодаря нему пылинки, вplyвавшие из разных закоулков, переливались поражающею радугой. В нем была крепкая настойка нынешнего дня, трепет золотого листа, пронзающая лазурь неба. Она не видела его уже с неделю. Как невозможно долго!

—Я хочу тебя видеть, — вдруг вслух сказала Анна. — Хочу тебя видеть...

Наевшиеся поросята осовели, сонно чмокали, иногда какой-нибудь из них слегка повизгивал и тыкал розовым пяточком в бок соседу. Анна в бессмысленном восторге смотрела перед собой и, точно заклинанье, повторяла:

—Я хочу видеть.

—Вот я хочу тебя видеть.

На минуту ей стало даже жутко. Сила желания была так велика, что оно будто становилось вещественным.

Ей нечего было больше делать в хлеве. Она взялась за ручку двери, тяжело отворила ее. Знала, что сегодня должна его увидеть, если его нет, сама к нему пойдет, ни на кого не глядя, никого не спрашиваясь.

И, затворив дверь, обернувшись в сторону двора, Анна нисколько не удивилась, увидев въезжавшую карфажку в английской сбруе — в ней сидела Марья Гавриловна. Леночка правила. Сзади легко катили дрожки с высоким человеком в черных усах. Тяжелая, горячая волна медленно прошла по всему телу Анны.

* * *

—Вы не ждали нас, Аня, — крикнула Леночка со своей двуколки, — Да, неожиданно, мы и не собирались.

—Нет, почему же.

—Вы знаете новость, — говорила Леночка, щуря свои карие глаза. — Вот так новость: нас выселяют!

Она произнесла это очень весело, точно дело шло о забавном происшествии.

—Мы завтра переезжаем в Красный домик!

Марья Гавриловна медленно снимала свой дорожный пыльник,

неторопливо и как бы утомленно высаживалась из экипажа.

—Да, — сказала она Анне, — времена. В нашем большом доме будет совет. А мы пока во флигель... что ж тут поделаешь...

Анна улыбалась. Слова пролетали сквозь нее, ничего не задевая, ни на чем не осаждаясь. Черными, недвижными глазами она глядела на дрожки.

Леночка захохотала, обняла ее.

—Мама, Ане это малоинтересно!

Через четверть часа Марья Гавриловна сидела пред пузатым медным самоварчиком, плющившим лица окружающих, и медленно, несколько грустно рассказывала. По не совсем чистой скатерти с красной каймой ползали мухи, другая часть этого племени глухо гудела под потолком, оклеенным закоптелой бумагой. После дома в Серебряном окна казались маленькими и все убогим.

—Мне Чухаев давно говорил: Марья Гавриловна, мы ничего не можем поделать... Вам тут долго не удержаться. Я, говорит, сам буржуй и понимаю. Даже очень сочувствую, но напирают. Вам, наверно, придется отдать дом под совет. Вот он прав и оказался. Третьего дня приехали из города, и немедленное распоряжение: в двадцать четыре часа! Чухаев говорит — еще Бога благодарите, Марья Гавриловна, что удалось для вас Красный домик сохранить, могли бы прямо на улицу!

Матвей Мартыныч сидел рядом с ней, локти на столе, подпирая коротко стриженную голову грязными, волосатыми руками. Его квадратное лицо в самоваре растягивалось в чудовищное рыло. Он глядел на Марью Гавриловну с беспокойством.

—Вот каки, вот так сволочь! Свою собственную землю им отдавай, коровочек отдавай, лошадок, кур, все пригодится, так еще из дому гонят!

В маленьких, зеленоватых его глазах что-то сверкнуло.

—Так-то вот сидишь, работаешь, вдруг явятся и говорят: пожалуйста вон!

Аркадий Иванович пил чай с блюдечка, медленно Дуя на него, заедая малиновым вареньем. Его усы свисали вниз, загорелое лицо с мягкими карими глазами имело утомленный, несколько болезненный вид.

— Что поделать, — сказал он, — живы, и на том спасибо. На Ефремовском хуторке на днях одинокую помещицу просто зарезали... вот как вы ваших... питомцев режете, Матвей Мартыныч. Обобрали, ограбили, что могли, а там ищи их. Все, конечно, подозрения на Трушку. Да его так боятся, что и доказывать на него никто не станет, если б и собственными глазами видел. Он прямо по округе заявил: если кто на меня докажет, я не только что его, а и всю его деревню спалю.

—Такого не пожалеешь,—сказала Анна.

Аркадий Иваныч улыбнулся.

—Вон вы какая воинственная!

— Аннушка прав. — Матвей Мартыныч хлопнул даже ладонью по столу. — Я эту госпожу Синицыну знал, Марта, смотри пожалуйста, ефремовскую барыню убили, у которой я в третьем годе сено покупал,

хорошая старушка, обходительная, и сено мне не задорого продал, а теперь ее зарезали и ограбили, ну, так я спрашиваю вас, на что же это похоже, чтобы честных людей ни за что...

Марья Гавриловна вздохнула, по лицу ее прошла тень.

—Ну, что, Аркадий Иванович, и так не сладко, а вы все какие мрачные вещи...

—Извините, кума, правда, это я зря наговариваю. Должно, нездоровье мое во мне сидит, и все мысли, знаете, в эту сторону...

Анна взглянула быстро, вопросительно. Марья Гавриловна вновь обратилась к нему.

—Да и вот, например: у самого болезнь почек, а за нами трясется сюда, на своих дрожках...

Аркадий Иванович слегка покраснел.

—Ну, уж это извините, Марья Гавриловна. — Я в вашем доме двадцать лет околачиваюсь, а по нынешним временам отпускать дам одних...

Марья Гавриловна закурила и засмеялась.

—Леночка, смотри какой у нас Аркадий кавалер.

Леночка быстро и деловито ела варенье, низко наклонив голову к блюдечку. Она всегда утверждала, что к «Мартыну» можно ездить с единственной целью — как следует наестся. Сейчас живо подняла голову, взглянула на мать карими, несколько близорукими глазами, захохотала.

— Аркаша нас защищает от бандитов? От нападения разбойничков?

И, слегка щуря глаза, взяла руку Анны, вполголоса сказала ей:

—А я думаю, что бандиты вовсе не опасны.

—Опасны, не опасны, а темноты захватим, это уж как пить дать.

—Да, — спохватилась Марья Гавриловна, — а я еще самого главного вам не сказала... тут все свои... — Она оглянулась. — Я захватила кое-какие вещи, знаете, у нас там совет под боком, того и гляди... вы не будете добры спрятать? Ну, временно подержать у себя?

—Да, мамаша, к делу, — сказала Леночка. — Матвей Мартыныч, вы не откажете? Пойдем посмотрим.

Через несколько минут Матвей Мартыныч тащил уже по двору небольшой, но очень тяжелый чемоданчик и плед в ремнях. От напряжения на виске его надулась жила.

— Кое-что таки набралось, — говорил он довольным тоном. — Надо схоронить. Мы таки схороним. Кое-что набралось.

Ему очень нравилось, что вот у кого-то что-то есть. Марья Гавриловна вполне могла быть покойна за свое добро.

— Все с вами пересчитаем, запишем, под расписочку примем, чтобы не вышло потом чего...

Аркадий Иванович отвязал свою лошадь и сел на Дрожки.

— Я тебя подожду там на выезде, у ракиты, — шепнул он Анне. — Пройди садом.

Анна покорно кивнула, темные ее глаза покрылись влагой. Пока в столовой шел подсчет серебра, Ценностей, воротников дорогих шуб, она

вышла в сад.

Сад в Мартыновке находился по другую сторону Дома, и это был иной мир.

Хоть и сюда доносилось хрюканье свиней, все же Старый яблоневый сад, времен далеко домартыновских, носил облик милых русских садов — некоего скромного рая. Сейчас яблони стояли уже совсем голые. У подножия стволов чернели круги свежевскопанной земли, от них пахло терпко и прелестно. На одном аркаде сохранилось несколько бледных листиков, и на верхушке одинокое, золотистое яблочко. Изумрудно-стеклянен был вечер. Нежен, узко-сребрист месяц сквозь ветви, горек воздух. Анна шла, попирая погибшие травы.

Пройдя мимо шалаша в дальний конец, выходящий к дороге, она услышала то медленное в вечернем воздухе позвякиванье, постукиванье, ход подкованной лошади, те мирные звуки, которые говорят о приближении друга. Никогда Трушка так не приближался. И действительно, через минуту, взбежав узенькой тропкой сквозь акации по канавке к дороге, она увидела эти простецкие дрожки, чалого коня, длинного Аркадия.

Увидев ее, он улыбнулся.

— Ты нынче не такая, как тот раз.

Анна села на дрожки боком, обняла его, прижалась щекой к его шее — усщекотал слегка ей лоб.

— Прости меня, Аркадий, прости.

Все улыбаясь, он обернулся. Темные, сумасшедшие глаза в упор смотрели на него. Он провел рукой по ее волосам, поцеловал в лоб, сказал тихонько:

— Проводи меня до кургана.

Анна молча к нему прижалась.

— Я сегодня так хотела, чтобы ты приехал... и действительно, смотрю, вы и въезжаете. Да, — прибавила она упрямо, — да, больше я не могу.

— Что не можешь?

— Не могу тут жить, не могу без тебя...

Лошадь шла шагом. Внизу, направо, выступила в лощине деревушка Мартемьяново. Там мычали коровы. Слышен был гул молотилки. По временам бич хлопал. И-о-о! И-о-о! — равномерно покрикивал погонщик. Мартемьяново уходило в голубовато-синеющий туман вечера.

Аркадий Иваныч молчал.

— Мне писали из Тулы, — сказал он, — теперь совсем скоро развод. Как получу, обвенчаемся. Я непременно хочу обвенчаться, чтобы все как следует. Будет, довольно. Хочется, чтобы так благочинно... по-настоящему. А то вот прошла жизнь, и столько зря наделано, натрепано... ужасно много...

Все так же позвякивало что-то в дрожках, лошадь медленно ступала по сухому проселку, слегка подымавшемся. Подъехали к кургану — небольшому, ровному холму на высоком месте. Открылся далекий вид на поля, леса, овраги, взгорья. Что в этом кургане, никто толком не знал, да может быть, и ничего не было — просто сторожевая вышка, откуда

наблюдали за жутким востоком, за страшной татарщиной — заревами, дымом надвигавшейся. Аркадий Иваныч остановил коня. Они слезли и сели у канавки. Солнце садилось. Тень векового кургана их одела, над его верхушкой пылали еще лучи, небо на северо-востоке было холодное, сине-стальное. К нему снизу шли яркие, густые зелены. Их замыкал темный парк Серебряного. Белая колокольня, пересекая пейзаж, горела в последнем блеске.

— Вот там ты, — сказала Анна, — там ты живешь, твое Машистово, и там пропала моя головушка...

Она засмеялась.

— Хорошо, что пропала. Тебя тоже, наверно, скоро оттуда выгонят, это ничего, мы где-нибудь устроимся, не все ли равно. Мне с тобой хорошо. Мне с тобой очень хорошо. Но сейчас ужасно грустно.

Она опять к нему приникла.

— И все страшно... Аркадий, мне как-то очень страшно.

Аркадий Иваныч вертел в руках сухую былинку. Иногда откусывал кусочек. Он ничего ей не ответил. В поясице начиналась вновь привычная, тупая боль.

— Нет, — сказала Анна, — если до Рождества развода не будет, я все равно к тебе сбегу. Это уж как хочешь.

Со стороны хутора на дороге показалась карфажка. Солнце село. Сизый, прохладный сумрак обозначился в лощинах. Аркадий Иваныч встал.

— Пора. Наши едут. Вот и застали темноты.

— У тебя есть с собой?..

Аркадий Иваныч похлопал по карману.

— Я приду в воскресенье.

Он обнял ее, поцеловал в лоб и сел на дрожки.

* * *

Было уже темно. С каждой минутой глубже погружалось заведение Матвея Мартыныча в первоначальную тьму, смывавшую дома, леса, людей, животных, чтобы возродить их утром. Зато на небе вос[^] ставала своя краса. Зима близилась. Уже Орион выводил, еще невысоко над горизонтом, свой таинственный семисвечник. Под ним кипел вечно юный Сириус.

Сириус стрелял уже разноцветными лучами сквозь голые сучья сада, когда Анна вошла во двор. Дверь инструментального сарайчика была открыта. Там возился Матвей Мартыныч.

— Аннушка, это ты? — спросил он, услышав ее шаги.

— Я.

— Где ж ты был?

— В поле.

Из-за темноты Анна не видела лица Матвея Мартыныча, передвигавшего какие-то ящики, но ее поразил изменившийся,

задохнувшийся его голос, когда он почти крикнул:

—Ты все за этим Аркадием бегаешь... Я уже давно, уже с лета замечайл...

—Ну и что ж, что замечал?

Матвей Мартыныч выскочил из сарайчика.

—Ты понимай, что он бездельник, он только всю жизнь по ярмаркам ездил, на гитаре играл и любил девушек...

—Да тебе-то что? — вдруг грубо сказала Анна. —Ты чего раскипятился? Ты кто сам?

—Я честный латиш... я хозяин, все сам делаю... Аннушка, не сердись, я ничего, так... ты знаешь, я о тебе все думаю и беспокоюсь, ты уже большая девушка, уже на выданье...

—А-а, беспокоюсь... молчи, Матвей, я знаю, о чем ты беспокоишься...

Матвей Мартыныч взял ее за руку.

—Я о тебе беспокоюсь, потому что ты мне не чужой, ты свой, хороший... Я тебя ребенком знал, а ты теперь сделался красивый девушка...

Теплота его руки, знакомая медвежатная шерстистость хорошо подействовали на Анну. Гнев ее быстро сошел. Ей, как всегда с Матвеем Мартыновичем, стало как-то смешно, ток животной сочувственности смягчил ее. Матвей Мартыныч молча и неуклюже гладил ей руку.

—Если ты будешь ко мне приставать с Аркадием, — сказала она покойнее и с усмешкой, — так смотри ты у меня!

—Матвунчик! — крикнула с крыльца Марта. —Куда ты там запропастился? Анна отыскалась, наконец?

Анна слегка хлопнула Матвея Мартыновича по затылку.

— Видишь, какой ты... — шепнула ему. И потом прибавила, тоже вполголоса, но серьезно: — Ты мне не вздумай мешать. Я сама все знаю. Я, дядя, давно

уж не маленькая. Я живу сама, и сама буду жить, как захочу. Меня не переделаешь.

Марта встретила их сухо, буркнув про себя что-то. Но Анна не слушала. Ей было все равно. С безразличием она ужинала. В душе прохлада, крепость и решимость. Что-то заканчивалось в ее жизни. Пока она молчала, но свое знала твердо. После ужина, как всегда, поднялась к себе в комнату. Прежде чем лечь, отворила окошко в темную, холодную ночь. Долго смотрела на звезды пылавшие. И опять, как тогда у кургана, стало ей жутко. Голова закружилась.

МАШИСТОВО

В деревне поздняя осень тяжела. Как ужасно размокают дороги! Беспросветен вечный дождичек из холодных, набухших туч, из надвигающихся сыротуманных завес, задымляющих бугры, колокольни, лесистые взгорья. Выехать — значит хлюпать в грязи по ступицу, плестись шагом, терпеть и мокнуть.

А потом все замерзнет. Тогда дорога — сухая, окостенелая пытка. Телеги грохочут, людей в них швыряет... что же поделаешь. Это Родина. Это Россия.

Михайлов день протрадали в Мартыновке в месиве мокрого снега и грязи. Матвею Мартынычу надо было б доехать в город, но время не позволяет, зарежешь лошадь. Марта и Анна ходили в подоткнутых юбках, высоких сапогах, на которые налипали целые комья — сумрачные и усталые от этих вечно чмокающих звуков, — им вторило в хлевах чавканье свиного населения.

Сухой заморозок принес некое облегчение. К ночи все стихло. Таинственные перемены совершались в облаках. На зачоченелую землю Серебряного, Ма-шистова, Мартемьянова во мгле и безвестности заструился снег — стал заравнивать выбоины дорог, белить углы крыш, медленно нарастать в разных ложочках и затишных местах.

Перед тем как лечь, Матвей Мартыныч вышел на воздух и, остановившись на каменной плите за порогом, в кромешной тьме с удовольствием ощутил на лбу, на волосатой щеке, на кончике носа холодные прикосновенья. Он выставил ладонь руки — сомнений не было.

— Ну вот, Матвей Мартыныч говорил, что и пороша, и, разумеется дело, так снежок и пошел!

Каждый год, с большой правильностью, выпадал в конце ноября снег, но Матвею Мартынычу приятно было сознавать, что вот именно он не ошибся, сказав на днях Марте, что скоро будет снег. Стал ли бы серьезный и честный латыш утверждать что-нибудь легкомысленное?

Постояв, сколько полагается, облегченный и довольный, Матвей Мартыныч вошел в дом, запер дверь и направился в спальню. Марта уже лежала. Мальчик спал. Крошечная лампочка-коптилка стояла на комодке и усиливала густой, кисловатый запах.

— Я же и говорил. — Матвей Мартыныч сел на постель со своего боку и, сняв куртку, почесал под рубашкой кустившуюся грудь. — Я же и говорил, что снежок выпадет, мы теперь и ляжем, а встанешь, то и первопуток.

— Вот и хорошо тебе в город ехать, — отозвалась вяло Марта.

— Я знал, что мне хорошо будет.

— А розвальни наладил?

— Матвей Мартыныч все наладил. Пожалуйста! Левый полозок новый сделал, оглобли перестроил...

Задув свет, он довольно грузно, так что двуспальная кровать вздохнула, завалился на спину.

— И тебе с Анночкой по снежку веселее...

— Еще бы.

— А то я третьего дня вижу, Анночка по двору шлепает, так там около подвала, вместо чтобы по досточке, прямо как в лужу ступил, чуть не по коленку в грязь...

— Ну, это уж просто по ротозейству, — ответила Марта. — Дощечка

положена, нет, надо переть прямо.

— Не заметил как-нибудь, и попал...

— Не заметила... какая барыня!

Марта повернулась, легла на спину.

— Эта самая Анна дуришь начинает. На наших хлебах отъелась, теперь смотри пожалуйста... то усатый сюда заедет, то она бежит в Машистово.

— Она же редки со двора уходит.

— Редки, редки! Прошлое воскресенье чуть не на заре вернулась.

Матвей Мартыныч недовольно двинулся. Некоторое время лежали молча.

— Аннушка честная девушка, — сказал Матвей Мартыныч. — Если кого полюбит, то замуж выйдет.

— Ну, да уж ты за нее горой...

— Не то, чтобы горой, а правду надо сказать.

Марта вдруг вспыхнула.

— Значит, я вру? А я тебе говорю, что она с машистовским путается, и об этом все на деревнезнают, кого хочешь спроси...

— Марточка, не волнуйся. Я и не говорил, что ты врешь, а что надо правду сказать...

Но Марта действительно рассердилась. Сон ее прошел. Острая электрическая сила пробежала по ее худому телу, может быть та же, что потрясала и в любви. Марта уже замечала и раньше сдержанное притяжение в муже... Как он оживлялся, как близко к сердцу принимал все, касавшееся Анны! Чувство это, отслаиваясь в дальних углах, поднакопилось — давало о себе знать смутным недовольством.

Марта села — так было удобнее — и повела наступление. Матвей Мартыныч лежал сначала смиренно, потом тоже воодушевился, сел и стал защищаться в полных доспехах непорочного мужа.

— Марточка, это неправда! Я с тобой сколько лет, и я другой женщины даже и не знал, вот у нас Мартынчик растет, я для тебя и для него стараюсь, как честный латыш...

Но Марту не так легко было заговорить. Она не давала вздохнуть. После краткого боя победа осталась за ней, хоть и обошлась недешево. Матвей же Мартыныч отступил в порядке и вдруг занял такие позиции, куда проникнуть за ним было уже невозможно: захрапел на спине. Малые треволнения соскочили с него в ту теплую, медвежатяую мглу, где столь легко сливался он со всем царством сонно-живым, покоящимся в Матери-Природе.

Марта же заснуть не могла — этим и платила за победу. Нервное волнение не покидало ее. В сущности, конечно, чепуха, она знает своего Матвунчика и в нем уверена... да и попробовал бы он! Нет, вздор, но лучше бы и этого не было. Забот и так много. Конечно, Матвей Мартыныч отличный муж, хозяин, но как легковверен, как все видит в лучшем свете! Ну, Бог с ней, с Анной, с Машистовом, — он забывает, что теперь не мир, какое время! Разводит себе, раскармливают свиней, в ус не дует, что мартемьянские мужики как волки бродят вокруг хутора, что ведь приезжали же зачем-то

Чухаев с Похлёбки-ным...

Мрачные мысли разгорались. Да, хорошо говорить о ней и о сыне, но надо знать, с кем имеешь дело, надо закупать исполком, вообще надо действовать. «Вот теперь поедет по первопутку... да, непременно чтобы в город сvez хоть поросят... А может быть, свинку пожертвовать? Хоть бы эту Аннину Матрену... лучше будет, как все заберут?»

Заснула она поздно. Когда проснулась, белесый отсвет лежал на стенах. Матвей Мартыныч в голубых подтяжках уже расхаживал по комнате.

—Как ты спала, Марточка? — спросил неуверенно — Ты что-то все и-с вечера вертелси.

—Вертелась не вертелась, а надумала правильно.

По виду мужа она поняла, что вчерашнего он не забыл. Власть, как всегда, была за нею.

—Снегу много?

— Снежок ничего себе, да таки пороша как следует, вот патронов набью, то пойду зайчиков потревожить. Мы давно зайчика не кушали. Марта принялась одеваться.

—Ну, там зайчика не зайчика, а ты слушай, что я тебе скажу: ты когда в город собираешься?

—В город я обязательно должен. Так и думал, как и санний путь, то и тронуся.

—Тебе надо завтра ехать. И свинью захватишь.

—Как свинью?

Продолжая одеваться, Марта кратко и внушительно ему объяснила, что с пустыми руками ехать в город нельзя. Надо повидать кого следует, подмазать. Зайчики зайчиками, баловство, успеется. А вот Аннину Матрену — свинья неважная, поросята тоже дрянь, их Анна выкармливает — эту Матрену сейчас же надо зарезать, к вечеру освежевать, приготовить, и завтра окорока прямо в город.

Матвей Мартыныч не очень ждал такой решительности. Разумеется, он предпочел бы искать по пороше зайчишек, а в город и завтра не поздно. Но уж одно то, что Марта выбрала Аннину свинью, говорило о серьезности дела. Как хозяин, Матвей Мартыныч готов был возражать. Но как муж, хорошо знающий свою жену, не решился.

Когда через несколько времени они с Мартой вышли, нагруженные инструментами, точно хирург с сестрой милосердия на операцию, первое, что удалось по ним, был удивительный воздух. Белый снег, нынче родившийся, принес с высот заоблачных такую свежесть, такое бесплотное и как бы отрешенное благоухание, будто иной, прохладный и несколько грустный в нетленности своей мир сошел на землю. Все выбоины, колеи и заостренелые неровности задушил он. Нога ступала мягко, и то, что еще вчера терзало ее, нынче было уже погребено. Матвей Мартыныч с Мартой шли, разговаривая о делах. Ни снега, ни его запаха, ни чистоты они не замечала. Да и странно было бы этого ждать от них. Они шла делать свое дело. Они поддерживали собой мир.

Понимала ли Матрена, что эти спокойные люди, которых она нередко видела, которые ей ничего дурного не делали, как и она им, — идут ее убивать? Должно быть, тоже не понимала.

Лишь когда стали связывать ей ноги, когда Матвей Мартыныч, повалив ее на бок, сел верхом, издала она раздирающий вопль.

Анна доила в это время корову. Выйдя из теплого стойла с подойником, она встретила посреди двора Марту. Та быстро шла по направлению к дому, в левой руке держала, концом вниз, узкий и длинный нож. Кровь капала с него. За углом закуты возился над неподвижной тушей Матвей Мартыныч.

— Свиною резали? — спросила Анна удивленно — обычно она знала об этом заранее.

Отсвет снега бледнил несколько лицо Марты, но и само оно было сейчас безжизненно. Только глаза блестели.

— Твою Матрешку палить будем, — ответила Марта глуховато, с усмешкой. Рука ее с ножом вздрагивала. Приподняв немного острие, она попробовала его пальцем, сразу покрасневшим.

— Теплая еще.

Едва заметная судорога, как след прошедшей под поверхностью рыбки, всколыхнула ее лицо. Анна почувствовала себя несколько задетой.

— Почему же именно Матрену? — спросила она. — И вот так сразу... Я даже не знала.

Марта усмехнулась.

— Ты что ж, помогла бы резать?

Анна ответила холодно:

— Что нужно, я все помогаю.

Они обе шли в дом. Анна не хотела больше расспрашивать.

Привычно ушла она в себя. Переливая молоко, делая мелкие хозяйственные дела, легко направила душой в Машистово.

«Наверно, на охоту теперь пойдет. Сам-то и не такой здоровый, начнет по оврагам за зайцами лазять, распотеет... а там эти почки... Ну, да разве его удержишь?»

Собственно, она думала, что удержать-то — и от вина, и от чего другого можно, но надо при нем находиться. Быть его женой, подругой... Развод же все не идет да не идет. «Аркадий тоже хочет по закону, по-хорошему». Ей было мучительно радостно, что этот немолодой барин, бывший покоритель, теперь так привязался именно к ней, хочет все «по-хорошему» — хотя именно теперь сходятся и без брака, и без любви, как звери.

Кончив работу, Анна вновь вышла на двор. Некое любопытство владело ею. Так хорош, так мил был снег, по нем жалко даже идти. Он тот же снег, что лежит сейчас и в Машистове и по которому ходит Аркадий за зайцами, — снег друг и союзник. Все же идет она почему-то мимо свиных закут, к тому дальнему углу, где несколько в стороне от двора разбросаны клочья соломы, ржаво краснеют на снегу неприятные пятна. Матвей Мартыныч кончил уже все приготовления. Обложив тушу соломой, не очень обильно, он зажег ее.

Синеющий дымок легко поплыл и заболтался в воздухе, огонь запрыгал с соломинки на соломинку. Он ненасытно, весело ел золотые пучки, они корежились, тотчас чернели. А огонь ластился уже к туше, охватывал ее. Щетина трещала. Новый запах явился, смрадный. К синеве дыма прибавился серо-прогорклый оттенок.

За недлинную свою жизнь Анна достаточно видела. Ей и самой приходилось резать птицу. Но сейчас, в тихий, белоснежный день, вид палимой свиньи показался ей необыкновенно противным.

Увидав Анну, Матвей Мартыныч несколько смутился.

—Что же это ты, одним махом, и мне даже не собрался сказать... Мою матку зарезали, а мне ни слова.

Анна произнесла это тоном почти начальственным. С некоторого времени она вообще усвоила его с Матвеем Мартынычем. Пока не знала Аркадия так как теперь, пока не чувствовала себя взрослой и не ощущала своей женской силы, Анна к нему относилась как к дяде и хозяину. Но сейчас этого уже не было.

—Нечего делать, Анночка, так вышло. Мне завтра в город ехать.

Анна усмехнулась.

—Что ж так скоро?

Матвей Мартыныч счел уместным переменить разговор.

—Анночка, возьми за ейные ножки.

Обдаваемая чадом, Анна молча помогла ему. Слегка потемневший бок свиньи лег на аспидно-серебряный пепел, другой выступил в своей жалкой нетронутости: сквозь белесую щетину просвечивала розовая шкура. Жизнь ушла уже. Все-таки в этой розовости Анна признала и нечто знакомое. Это была, хоть и мертвая, все-таки та же Матрена, которую она кормила, которая узнавала ее, когда она являлась в хлев, и чьих поросят с такой предательской заботливостью она выхаживает и по сей час.

Матвей Мартыныч подкинул соломы. Вновь легкий огонь метнулся вдоль туши. Вновь затрещала щетина. Понесло паленым,

—Эх ты, воин, — сказала Анна. — А еще хозяин.

И отошла.

* * *

Все церемонии над зарезанной протекли правильно, все действия кончены, и наутро Матвей Мартыныч в жеребковой дохе, подтянув ее поясом, чем свет (а поля снежные еще налиты ночным сумраком, хмуро синеют, и в глазах при взгляде на них текут светлые запятые) — уже выехал в город.

Без него все шло так же, как и при нем, как должно было идти и как дай Бог, чтобы шло и впредь. Марта и Анна молчаливо работали, Анна особенно теперь не торопилась с разговорами. Марта ничего против не имела — считала, что так даже больше сработается.

Но на другой день произошло небольшое событие, которого Марта никак не могла предвидеть. Началось все очень обычно. Заехала в санках Леночка

Немешаева. Увидев ее на дворе, Марта с неудовольствием подумала, что сейчас придется ставить самовар, доставать леденцы и варенье — вообще заниматься ненужными пустяками. «Вот делать-то кому нечего... Знай себе разъезжают!»

Но Леночка, резво пробежав по двору в ловких своих валенках, сразу сказала, что и заходить не будет. В санках же сидел Костя, в шапке с меховыми наушниками, и даже не думал устраивать лошадь надолго. Он медленно объезжал заснеженный двор, чтобы стать лицом к выезду.

Леночка быстро и оживленно сообщила, что они всего на минуту, едут в Конченку за докторшей — захворал Аркадий Иваныч, лежит, кажется, довольно серьезно.

— Он совсем один там у себя, так неудобно... У него болезнь почек, надо компрессы, даже ванны... Да, Аничка, вам от него письмецо...

И, передав письмо, Леночка быстро укатила в Конченку: надо засветло попасть домой.

Анна же прочитала, слегка насупилась, ничего не сказала. Ушла наверх в комнату, села к столу, положила на стол руки, на них голову и коротко, быстро всхлипнула. Дверь она заперла. Еще и еще раз потрясло ее рыданье. Потом она высморкалась, встала и принялась укладывать в рваный, доставшийся еще от матери и потому милый чемоданчик нехитрые, невеликие свои вещи.

Часа через два вернулся и Матвей Мартыныч. Он был не очень весел. Дорога утомила, в городе не так было гладко, как он ожидал, там сильно подголаживают, зарятся и злятся на деревню. Он сразу же залег спать. Анна спустилась с чемоданчиком, когда его храп раздавался по всему дому.

Увидев ее уже на дворе, Марта удивилась.

—Куда это ты?

—В Машистово. Аркадий Иваныч очень болен.

—В Машистово!

—Да, — ответила Анна покойнее и даже мягче, как будто говорила об обычном, самоочевидном, — Иначе нельзя. Конечно... я уйду так вот, сразу, может, это и нехорошо... но он правда болен, за ним некому и доглядеть.

Марта стояла молча.

—Я ведь его невеста, — тихо добавила Анна.

* * *

В поле она сразу почувствовала себя лучше. То, что должно было произойти, произошло, и чем проще случилось, чем скорее, тем и лучше. Аркадий болен. Вот, она идет к нему по этому пустынному снегу, в надвигающихся сумерках — потому, что так надо, такова судьба ее. Анна хорошо знала дорогу. И чем далее отходила, тем яснее ощущала начинавшееся новое. Оно было и радостным, и грозным, как этот предвечерний сумрак, залегавший свинцом у лесочков, веявший пустыней, ночью. Анна шла быстро. Чемоданчик не был тяжек для ее крепкой руки, привыкшей к полным ведрам, лоханям, корытам. Грудь широко дышала. И

странное, почти восторженное ощущение пролетало по ней, обдавая спину нежным, но и жутким холодом.

Она пришла в Машистово затемно — светились уже огоньки, деревня на той стороне оврага пряталась в неисследимой бездне ночи. Усадебка Аркадия Иваныча стояла на отлете. К ней вела неширокая дорога через верх этого же оврага. По ней надо было потом подыматься — дом расположен выше всей деревни, на юру. Фруктовый сад выдвигался прямо в поле, обсажен был нестарыми березами. Этот прямоугольник берез на бугор виднелся издали, точно легкий, стройный авангард некоторых главных сил.

Главных же сил и вообще не было. Аркадий Иваныч жил в маленьком доме, часть земли — до революции — отдавал в аренду, другую кой-как сам обрабатывал. Но что можно было бы сказать о его жизни теперь? Разве то, что он все-таки существовал, что поддерживали его, по старой дружбе, и Немегиаевы, и что на кухне его прозябала старуха Арина.

Анна вошла на крылечко, взялась за скобу обитой войлоком двери — дверь без труда отворилась. «Как все тут настезь...» Анна знала дом Аркадия Иваныча, и ей неприятно стало, что незаперта даже дверь. Она быстро разделась. Из кабинета слабый свет ложился на крашенные, давно не натиравшиеся половицы столовой, куда она вошла. Окна чуть запушены узором снега.

—Кто там?

Анна подошла к полуоткрытой двери, просунула голову. На тахте, у стены, завешенной ковром, по которому висели на рогах ружья, патронташи, старинная пороховница, лежал Аркадий Иваныч. Небольшая лампа с картонным абажуром давала блеклый свет.

—Это я пришла, — сказала Анна, с силой выдохнув из себя слова, и вдруг улыбнулась, всей полнотой своего умиления и радости. — Ты болен, вот я и пришла...

Аркадий Иваныч приподнялся. В полутьме, против света, не мог разглядеть влажных глаз Анны, но ее голос и ее разряд дошли.

—Как я рад... я ужасно рад.

Она к нему подошла, поставила в сторонку чемодан. Свежим зимним воздухом на него пахло — здоровьем, молодостью от раскрасневшихся щек Анны.

—Ты получила мое письмо?

Анна кивнула. Глаза ее сияли. Аркадий Иваныч взглянул на чемоданчик.

—А это как же ты...

Анна засмеялась, быстро сняла шубейку.

—Не ждал гостя. Я к тебе с вещами. Я теперь от тебя не уйду. Понимаешь?

Она подошла к тахте совсем близко — высокая, Румяная, с блистающими глазами. Большие красные руки довольно ясно освещались лампой — она стояла перед ним обликом силы и молодости, свежей, страстной жизни. Аркадий Иваныч вдруг ослабел. Взял руку Анны, припал к ней лицом и глазами, поцеловал — всхлипнул.

—Как же ты, — бормотал, вздрагивая подбородком, — как же ты там своих... латышей бросила... как ты сказала, они небось рассердились?

Но Анна ничего уже не могла рассказать. Губы ее дрожали, она обняла его, припала, а вернее, притянула к себе, заполнила, закрыла, точно защищая. Она была в состоянии того счастливого бешенства, когда золотые токи пронзали всю ее, когда она себя уже не помнила, но только знала, что может сдвинуть камни, горы, и сейчас тело Аркадия казалось ей слабым и легким, она могла б его поднять, как чемодан.

—Мой, мой... никому не отдам, вылечим, опять будешь здоровый, вместе будем.Мой...

ЗИМА

В свое время Аркадия Иваныча действительно знал весь уезд. Не потому, чтобы он был богат. Именьищем владел небольшим, состоял при дворянской опеке — в учреждении вялом и невидном. Занимал пост какого-то секретаря, а жил больше у себя в Машистове. Часто разъезжал по ярмаркам, базарам, много охотился — и с Великим князем, и с покойным Бемешаевым, бывал на всех дворянских и земских собраниях, играл и на биллиарде, умел закусить, выпить, расправляя свои длинные усы и молодцевато держась в черной суконной поддевке с кавказским поясом, — как же его было не знать?

В городском костюме он сильно проигрывал. Ни воротнички, ни манжеты не шли к его сильно загорелому лицу с темными пятнышками, к огромным грубоватым рукам. Прямой воротничок и белый атласный галстух стесняли его.

Он умел разговаривать и с поденщицей, и с учительницей, и с барыней. Выл и женат, и неженат, смотря по взгляду. И сам бросал, и его бросали — не иссякал лишь в нем источник благоволения. Женщины это чувствовали и не были к нему суровы.

Весь первый вечер он не мог успокоиться. Говорил мало, но по его глазам, по тому, как он вертелся, как молча брал ее руку и гладил, Анна поняла, что он что-то кипит. Это и трогало ее, и волновало. «Чего это он... Что такое?»

Сама же она сразу почувствовала себя хозяйкой, госпожой этого нехитрого холостяцкого, однако же насиженного жилья. Арина сдалась ей беспрекословно. Анна везде сама чистила, убирала, привела в порядок и столовую, и кабинет, разложила даже на письменном столе в порядке старые накладные и ненужные прејскуранты. Временами, перебирая его бумаги, чувствовала некоторую боязнь (знала его характер) — не наткнуться бы на какое-нибудь письмо, на угол неизвестной и враждебной жизни. Но ничего не нашла. Зато в столовой обнаружила следы иных грехов: бутылку самогона, дар Похлѣбкина.

— Вот, — сказала она, подойдя к нему и постучав пальцем по стеклу, — вот где здоровье твое — на доньшке!

Аркадий Иваныч улыбнулся.

— Не судите, да не судимы будете.

Эти слова, немногие, какие знал он из Евангелия, Аркадий Иванович вспоминал нередко — может быть, потому, что и себя ощущал небезупречным, и ему нравилось, что в священной книге, которую читают в церкви, — даже и там есть снисхождение к нему.

— Судимы или не судимы, а этого зелья ты больше и запаху не услышишь.

— Жаль, — сказал Аркадий Иванович серьезно.

— Ничего не жаль. У самого то да се, в постели лежит... Э-э, да что говорить! Поскорей бы эта докторша приехала, уж хорошенько бы узнать, что да как...

Аркадий Иванович свернул козью ножку и закурил.

— Я лежу, но довольно хорошо чувствую себя сейчас... Ты... и на гитаре не позволишь мне попробовать?

Анна посмотрела на него. Глаза ее вздрогнули, повлажнели. Она сдержалась, молча встала, вышла в другую комнату, вернулась с гитарой и положила ее на постель.

В это время за окнами машистовского дома, над Серебряными и Мартыновками, начиналось то белое «действие», которое называется метелью, когда носятся по полям дикие косяки, стучит, ухаает, наносит сугробы, задувает ложочки, наполняя воздух острым благоуханием, колюче хлещет лицо снежной пылью.

На окнах стали налипать звездисто-путаные узоры. Белый свет яснее лег в немолодые комнаты машистовского дома с топившейся голландской печью, старыми фотографиями на стенах, запахом медвежьей шкуры, ружей и лекарств.

Аркадий Иванович взял гитару, слегка тронул струны. Они слабо, грустно ответили. Он стал подтягивать колышки.

— Вот и развлекусь немножко. Не вечно же хворать, лежать...

Анна преданными, темными глазами на него взглянула.

— Триста романсов... Меня у Яра отлично знали. Варя Панина одобряла. Все триста на память знал. Но и не одни цыганские...

Он сел повыше, подперся большой подушкой и слабым полуголосом, полуговорком, но уверенно начал.

Кроме гитары метель ему аккомпанировала. Но в ее порывах, в безумном, сухом хлестании было что-то грозное. Временами так громыхали листы железа на крыше, ослабевшие от времени, так постукивали ставни, что почти заглушали романс. На Анну это пение нагоняло мрак.

— «И умере-еть у ваших ног. О, если б смел, о, е-е-если б мог!»

Он слегка задохнулся, отложил гитару.

— Под этот романс мы с покойным Кладкиным сколько деньжищ спустили...

Ну, что там вспоминать, где да сколько, — сказала Анна. — Были баре, разумеется. Денег не считали... сами они к вам шли. Своим горбом мало что добывали.

—Верно. — Аркадий Иванович произнес это вполтона. — Легко пришло, легко ушло.

Анна взяла его за руку.

—Я тебя не осуждаю. Ты как был барин, так барином и остался. Мы — другие. И теперь другая ясизнь идет.

Она улыбнулась.

—Я тебя за то и люблю, что ты барин... настоящий. А что цыганок разных любил, этого не люблю.

—Цыганки бывали ничего себе... Но я ими не занимался. Кладкин вертелся немного. Да с ними и вообще не так легко. Нет, мы шальные деньги сорили, это что и говорить, я-то не так, у меня много никогда не бывало, а вот этот Кладкин, например...

Аркадий Иванович помолчал, потом закурил.

—Его имение отсюда было верст пятнадцать, в сторону Коруыстова. Как тебе сказать, не то чтобы особо знатный, родовитый, что ли, человек, скорей

напротив, происхождения неопределенного, занимался подрядами, поднажился — и купил Олёсово, переехал туда с семьей, зажил, я тебе скажу, широко.

Именины, или там праздник, то водчонки, вина сколько твоей душе угодно. И наши же помещики так у него перепивались, что потом их на дорожках олёсовского парка находили или под кустами с девками-мананками...

—Мерзавцы. И ты такой был?

Аркадий Иванович слегка выпрямился, опираясь на подушку, по старой привычке выставляя вперед грудь.

—Я, во-первых, никогда не напивался, хотя пил и много. Второе — женщины меня любили не за деньги.

Анна посмотрела на него невесело. За деньги плохо, но что его любили и не за деньги, тоже мало ей нравилось.

— Так вот этот самый Кладкин завел тут молочное хозяйство, кирпичный завод и еще раскинулся невесть на что, и надо тебе знать, что все он говорил

жене: «надо мне, Сашенька, по делам в Москву». По этим-то делам мы с ним все к Яру и залетали. Так он к делам пристрастился, что и у Яра, и на бегах, и в разных других зланных московских местах стад своим человеком... И в три-четыре года, под такие-то романсы все его деньжонки, и коровы, и завод — и ухнули. Пытался на бирже играть — окончательно запутался. Все у него пропало. Имение продали за долги, а сам он уж не знаю где сейчас, всю семью разметало... Как и нас прочих, разумеется. Что говорить, — он вздохнул, — мало мы чем от него отличались. Может быть, меньше только пришлось развернуться... Ну, вот теперь и расплачиваемся.

—Кому ты это пел: «И умереть у ваших ног»?

—Никому. В прежней моей жизни я никому не пел этого так, как сейчас тебе...

Он вдруг нервно и бурно провел пальцами по струнам, вздохнул и опять взволновался.

— Хорошо, — тихо сказал, — что ты пришла ко мне. Ах, хорошо...

* * *

Сквозь шум метели Анна различала хлопанье дверей, голоса в прихожей. Заглянув туда, увидела невысокую фигуру в свите, укутанную платками, так забеленную снегом, что в полутьме резко она выделялась. Арина помогала ей раздеться. Снег мокрыми хлопьями летел с косынок, с воротника свиты. Приезжая добралась, наконец, до носового платочка и старательно обтерла им ресницы, тоже густо залепленные. Несколько оправившись, оказалась полной, довольно красивой женщиной с карими глазами и преувеличенно румяными от метели щеками.

— Меня чуть не занесло. Ну и метель... А, это вы... — Она протянула Анне руку. — Ко мне Леночка заезжала, но я была в разъездах, а потом эта метель, — только сейчас могла выбраться.

Несмотря на долгую езду в поле (под окном кучер поворачивал запотелую пару гусем в пошевнях), от Марьи Михайловны, кроме свежести молодого тела, пахло еще йодоформом — духами медицины. Поправив темные волосы, слегка покачивая полным станом, она уверенно прошла к Аркадию Иванычу — как не быть ей уверенной! — жизнь ее, земского врача, в том и состояла, что или она принимала у себя в Конченке, или ездила куда-нибудь по вызову: тем же ровным и покойным шагом входила эта румяная женщина и к помещику, и к мужику, и к мельнику, и к советскому владыке.

Увидев ее, Аркадий Иваныч слегка смутился, запахнул ворот рубашки. Но по всему лицу, как ветерок, пронеслось дуновение удовольствия: приятно было ее видеть, Анна заметила это. Привычным своим докторским взглядом заметила и Марья Михайловна, но другое: потускневший цвет его лица, вялую руку, припухлость под глазами. Разумеется, виду не подала, что заметила. Но в добросовестном сердце, тоже чужими лекарствами уж пропитавшемся, все это сложила.

Она села рядом, заняв почти все кресло. Докторский запах медленно и неукоснительно распространялся от нее. Аркадий Иванович взял ее руку, наклонился и осторожно поднес к губам. Поцеловав, не выпустил, продолжая слегка гладить.

—Теперь надо нам заняться здоровьем, поговорить и поисследовать вас, — сказала Марья Михайловна и спокойно отняла руку.

Анна вышла. Аркадий Иваныч продолжал смотреть на приезжую тем же ласковым взором — Марья Михайловна отлично все это знала, но в теперешней обстановке даже не улыбнулась.

—Точно выпил хорошего вина. Знаете, глоток Марго...

Марья Михайловна вздохнула.

—Глотков было достаточно. Столько глотков,—прибавила, вновь всматриваясь в нездоровое тело его руки, — что и за нашим братом

пришлось посылать...

Анна не входила. Исповедь телесных слабостей протекала без нее. Лишь часть того, что в нем происходило, мог рассказать словами этот длинный человек. Знал только следствия: ночью тяжело дышать. Там-то больно. Пухнут ноги... Марья же Михайловна прохладными, бесстрастными глазами точно бы производила сыск. В этих почти девических глазах была невинность, как бы равнодушие — они и открывали ей тайну тела немолодого мужчины, в безразличии, лишь легком вздохе.

Анна стояла в столовой, прислонившись лбом к стеклу. Метель лепила неустанно. Теперь почти уж ничего нельзя было разглядеть в ее вихре — иной раз мелькали мчавшиеся куда-то, простираемые мучительно ветви березы, потом опять тонули в сухом молоке. Овчарка прокатилась по дорожке с раздутым, патлатым хвостом. Анна упорно рассматривала нараставшие хлопья на стекле... «Умирать будет, так без женщины не помрет...» Снег налипал и вкось, и прямо. Звезды сливались, образуя почти сплошной узор, сквозь который сочился белесый свет. «То говорит, что хочет все по-хорошему, по Вожию, а то и больной...»

Анна резко оторвалась, подошла к двери, за которой было тихо. Вот он слегка застонал. Кровать скрипнула. «Покойнее, так, хорошо. Тут болевых ощущений нет?»

Анна затихла. Вой метели, чуть приоткрытая дверь, сдержанные голоса и все это простое, столь обычное дело представились необычайно жуткими. Холодноватая струя, тянувшая от окна, почувствовалась ледяной. «Он тяжело, он очень тяжело болен. Как у них тихо...»

Она отошла, села к столу. Подперев голову руками, уставилась на висевшее на стене деревянное блюдо с резной головой оленя. Бледный отсвет лежал на его узкой мордочке, на рогах. Глаза были полузакрыты. Мертвенная скорбь в них. «Какая я дрянь, какая дрянь!» Анна хлопнула рукою по столу.

Когда через несколько времени Марья Михайловна вышла из кабинета, ее поразил вид Анны.

—Что вы?

Анна пыталась что-то сказать, но не особенно удачно. Голубые же глаза Марьи Михайловны были, как всегда, покойны.

—Где бы мне вымыть руки?

Анна покорно повела ее в свою комнату, покорно лила из кувшина воду. Марья Михайловна сбоку на нее взглянула ровным, фарфоровым взглядом.

— Вы ему близкий человек?

—Да. Я теперь тут живу.

Марья Михайловна неторопливо хрустела мокрыми руками, потом вытирала их полотенцем. В ее коротко стриженных смоляных волосах, в этих белых руках, не знавших греха, во всем полном теле было нечто подавлявшее. Анна задохнулась.

—Вам придется с ним много... повозиться.

—Какая у него болезнь?

—Нефрит.

—Это что значит?

Марья Михайловна объяснила. И прибавила, что ему надо делать ванны. Анна вдруг перебила:

—Он умрет?

—Нет, почему же... при хорошем уходе вполне излечимо.

Анна замолчала. Ванны нет, о чем же говорить?

Остаток дня она безмолвно действовала по дому, но мысль о ванне не оставляла. Где бы достать?

Аркадий Иванович не велел пускать домой Марью Михайловну по такой погоде. Он несколько вообще оживился. Больше обычного разговаривал.

—Куда там ехать, я вам скажу, мы с покойным Балашовым раз в такую метель чуть вовсе не продали.

Ему приятно было вспомнить, рассказать, как, возвращаясь с дальней облавы, они заблудились у самого Машистова и проплутали всю ночь.

—...Дорогу мы потеряли, лошадей бросили, изволите ли видеть, лошади стали, а мы шубы снимали и в одних куртках пробивались. Кучера и потеряли — в нескольких шагах пропал! Его потом нашли в ложочке замерзшим. Балашов отморозил руку, я легче отделался... И вообразите, когда стало светать, мы оказались на плетне у крайней машистовской риги... Каких-нибудь двухсот шагов до дому-то не дотянули. Нет, куда это я вас в темнотищу отпущу.

Не модель.

«...Если бы в Мартыновке была ванна, тогда что же, конечно, добежала бы. Ну, там они сердятся, не сердятся, уж достала бы. В деревнях кругом ни у кого нет. Разве у Марьи Гавриловны в Серебряном, детская...»

Марью Михайловну Анна положила на свою постель, сама легла на диване.

—Вы не волнуйтесь, заранее духом не падайте, — говорила приезжая, раздеваясь. — Постараемся все сделать, чтобы его поскорее поднять,

—Да, конечно, да... — как будто даже равнодушно ответила Анна. -

Постараемся.

Марья Михайловна разделась с основательностью, спокойствием. Задула свечу, привычно легла в привычно холодную постель. Анна про себя прочла «Отче наш». Нынче чувствовала она себя особенно одинокой. Метель не унималась. То слабее, то бурней налетали ее шквалы. Не было ли это каким-то морским странствием, на немолодом корабле, поскрипывавшем, дрожавшем, в меру многих лет едва сопротивлявшемся? Впрочем, качки^а не чувствовалось. Анна и Марья Михайловна лежали недвижно, на спине, как в гробах.

Аркадий Иванович сегодня заснул. Из его комнаты ни стонов, ни вздохов не слышалось. Снилось ему что-нибудь милое, прежнее? Или теперешняя Анна?

—Я ведь вас так поняла, — сказала в темноте приезжая, — что вы его невеста?

—Да. Я ушла сюда от родных.

—Вам надо быть терпеливой.

—Я знаю.

Марья Михайловна вздохнула.

—Вы еще так молоды...

—Это ничего не значит. Я его люблю, — твердо сказала Анна.

—Нам, врачам, приходится видеть много тяжелого. Не говорю уж о теперешнем времени, о революции, но и всегда-то мы окружены бедами. Иногда очень устаешь...

—У вас есть дети?

—Двое.

—Вы их очень любите?

—Понятно.

Анна помолчала, вдруг сказала:

—Любовь страшная вещь.

Марья Михайловна подняла голову. Анна зажгла спичку, закурила. Она полулежала на своем диване, подперев голову рукою. Красноватое сияние от папироски трепетало на ее лице. Что-то тяжелое, упрямое было в самой позе.

—Страшная вещь. Всего съедает. Вот как эту спичку — тлеет, золотится... — а там и вся перетлела, ничего не осталось.

Марья Михайловна усмехнулась.

—Ну уж это вы... Я сама была замужем и тоже любила, но такого страшного ничего не испытала.

—Вы честная докторша... А заметили, что вы нравитесь Аркадию? Несмотря на болезнь?

—Что вы, о чем говорить...

—О том, — продолжала Анна. — О том самом. Ему все красивые нравятся, вот о чем. Ему всех подай.

Начался разговор о любви. Анна высказывала мысли странные, для Марьи Михайловны совсем неприемлемые. Например, что когда ревнуешь, то вполне можно убить, и она бы не удивилась, если бы ее убили. «Странная девушка, — думала Марья Михайловна, — искаженное направление мыслей... а с виду такая здоровая». Анна уже утверждала, что она удивилась бы, даже ей было бы неприятно, если бы любимый человек, при ее измене, не убил бы ее.

Марья Михайловна не возражала. Всем своим честным телом, красивыми глазами и прохладно-гуманитарною душой она отрицала «такое». Мягко относясь к людям, подумала, что, верно, Анна многое перенесла.

—Мне одна женщина рассказывала, она очень любила. А он ей всегда изменял... он притом еще женатый был. Это тянулось десять лет. И знаете, она все десять лет страдала, а потом он умер. Она мне и говорит: «теперь я покойна. Под землей уж он мне

не изменит». Вот что значит ревность...

— Это была сумасшедшая и злая женщина.

— Да, наверно... Все мы сумасшедшие.

Анна замолчала. Несколько времени все было тихо. Она не курила больше. Легла ничком. Вдруг привычное ухо Марьи Михайловны уловило рыдания:

— Анна?

В темноте руки хлопнули по подушке. Несмотря на то, что под шубою было тепло, а в комнате холодно, Марья Михайловна добросовестно встала, подошла к дивану. Анна, действительно, плакала. Утешительница села рядом, стала гладить ей затылок, целовать его.

.

— Не думайте, что я такая дрянь... Ну, я, конечно, дрянь, но все же не такая. Я вам клянусь, вот святым Божиим крестом, если б сейчас моя жизнь

потребовалась для его спасения и счастья, я б минутки не подумала... Но этого не нужно. А выносить, чтобы он с другими ласков был и к другим бы стремился, я все равно не могу... такая родилась.

...Ах, я вам, почти незнакомой женщине, такие вещи рассказываю, но мне нынче очень страшно, очень грустно, так тяжело, некому сказать... Я всю жизнь одна была. Да, я много видела. И всегда мне казалось, что скоро я умру.

Она села и даже прижалась к Марье Михайловне.

— Какой ветер, какая метель! Хоронят нас. Я вспоминаю — я еще девочкой, в такую же ночь... тогда вотчим маму избил... я его хотела сначала зарезать... а потом решила — лучше сама помру... и вот так ночью в метель форточку отворила, высунулась почти голая, все думала: простужусь, помру... и выжила... а потом и мамочка умерла, я одна осталась, в чужих людях... Будто бы у дяди с тетей и сейчас живу, работаю. Нет, я это все бросила. Я Аркадия полюбила, я его навсегда полюбила, вы не слушайте, что я иной раз подлости горожу, он слабый человек, но такой хороший, такой ласковый, как никогда еще никто со мной не был. А я стерва... Что он мне плохого сделал? Я по сумасшедшему своему характеру сама все на него выдумываю. А вот теперь он болен.

Анна остановилась. Марья Михайловна чувствовала себя во второй буре. Первая бушевала за стенами, секла снегом, продувала ледяными струями старый дом, от нее зябли ноги. Вторая огнем крутила тут же рядом. От нее слезы медленно стекали по гуманитарному лицу.

Вдруг Анна схватила ее руки, стала целовать.

—Спасите его, помогите... спасите. Я знаю, он ужасно болен, но спасите...

—Успокойтесь, ничего, все обойдется.

* * *

Немешаевы разместились в Красном домике, своем бывшем флигеле, с тою простотой и непринужденностью, точно и всегда там жили. Леночка заведовала библиотекой (более финтила в большом доме с приезжими). Муся откровенно ничего не делала. Костя работал.

— Я бы, конечно, с удовольствием дала вам для Аркадия ванну, — говорила Марья Гавриловна, помешивая на печурке пшенку (лениво, но так же спокойно, точно всю жизнь этим только и занималась), — но дело в том, что наша ванна, в которой мы еще детей купали, уж не наша. Вы понимаете?

Она поправила накинутую на плечи шубенку, пустила струю табачного дыма и приветливо взглянула на Анну карими глазами.

— Вам придется обратиться к Похлёбкину. Чухаева из председателей уже выставили... слишком, оказывается, сам буржуй. А этот еще держится... Пьянствует с новым председателем да в Народном доме на сцене играет. Попробуйте к нему обратиться... Да он, кажется, к вам и не совсем равнодушен был... — Она слегка усмехнулась. — Тем лучше. Так, так... Аркадий бедный все страдает... ах-а-ха... Мне и Марья Михайловна говорила. Навешу, навешу, жаль мне его.

Выйдя во двор, Анна поднялась по ступеням стеклянного подъезда. Туда входили и выходили мужики в свитах, в бараньих тулупах, тяжелых шапках. Пузатые лошаденки, с монгольскими вихрами, патлами, жевали у кояги корм в подвешенных к мордам мешочках. Анна бывала в этом доме, еще когда Немешаевы в нем жили, когда был здоров Аркадий... Л встретились-то они здесь. Да, но сейчас все другое. Некогда об этом даже думать, пришло-ушло, нужно ей только одно, свое.

Мокрые следы вели в залу. Там стоял синеватый туман, едкий запах махорки, полушубков, отсыревших валенок. В комнатах справа за столами строчили белобрысы писаря. Мужики, бабы покорно ждали.

Анна нашла Похлёбкина в дальней комнате на антресоли, он был «у себя», в своем «рабочем кабинете» (там же, впрочем, и спал). В данную минуту подзубривал роль. Вечером ему предстояло выступить в Народном доме.

Увидев Анну, искренно обрадовался.

—Редкий гость, милости прошу садиться, давненько не приходилось видеть...

Он был отчасти воодушевлен самогоном, недопитая бутылка выглядывала из-под этажерки.

—Ах, какое дело, Аркадий Иваныч больны... Жалко, жалко... Ну, Бог даст, весной с ним опять на тягу закатимся... Так вы говорите, ванну?

Оно конечно...

Похлёбкин задумался.

—Ванночка тут, вне рассуждения, имеется — еще немешаевская. Дело же, однако, в том, что у нас новый председатель... он сам-то ничего, живет рядом

со мной в комнате, да женат, дитя имеется, развел, знаете ли, всю эту брачную анатомию, ему для дитенка не понадобилось бы, а то, разумеется, для такого случая... с возвращением по миновании надобности... — это уже безо всяких... и никаких рябчиков.

Похлёбкин вскочил, блеснул лоснившимися, в угрях, щеками, на ловких ногах в обмотках выскочил посоветоваться с разводителем брачной анатомии.

«Артист», — подумала Анна хмуро. Но сейчас ничто не занимало ее: ни Похлёбкин, ни тихий, белый снег, лежавший за окном в парке пухлой и такой нетленной пеленою. Ей нужна была ванна.

Артист не сразу добился просимого. Брачная анатомия сперва заупрямилась. Пришлось привести ее к себе. Анна была так покойна, так мрачна и так бесконечно уверена, что возьмет, — что молоденький председатель, только что назначенный из города, не устоял.

—Ну, ладно, Андрюшку в корыте помоем.

И через четверть часа тот же Похлёбкин погрузил небольшую ванну в салазки, попробовал, горестно хлопнул себя по боку.

—Ничего, — сказала Анна, — довезу, я сильная.

—Э-эх, была б лошаденка, я бы вам с нашим удовольствием...

В качестве артиста и любезного человека он помог, однако, и самолично: доез салазки до парка. Анна поблагодарила, дальше пошла одна. Она просто впряглась, бечевка охватывала ее живот. Наклонив верхнюю часть тела, наваливаясь, она медленно везла свой груз. Ванна подрагивала, на ухабах накатывалась, издавала иногда глухой звон. Парк Серебряного был сейчас очень серебрян, весь в инее, в тихом обворожении, густо и сонно заметены его аллеи. Где-то сквозь облака слегка сочится солнце. Не солнце, а бледный на него намек, добрый знак — не вполне мир осиротел. Но и от знака уж искрятся по полям и в тишине аллеи парка удивительные алмазы, нежно и мелко переливаются. Они дают снегу тонкую, нежизненную жизнь, и загадочно стрекочут в этой жизни перепархивающие сороки.

Анна не очень-то все это замечала, все-таки тишина, блеск полей странным образом действовали на нее — погружали в особенное бытие.

Тяжко шагала она по скрипучему, иногда зеркальному накату дороги с кофейными пятнами. Режущий ветерок, ослепительность снега, далекий лай собаки... Ни Аркадия, ни себя, ни груза: так она с ним и родилась, привычно шагает.

Спустившись в ложок к мостику, она должна была подняться на крутой бок оврага. Здесь намело сугроб. Видно было, что и лошади протыкались по брюхо. Аннины салазки никак вперед не подавались, сама она вязла. Сколько ни билась, двинуться вперед не могла. Тогда решила ждать — кто-нибудь

проедет, подвезет.

Ждать пришлось недолго. Анна была несколько даже удивлена, когда на бугре, выше себя, прямо на бледном небе, точно он с него спускался, увидала знакомого гривастого коня, розвальни и доху Матвея Мартыныча.

Еще больше удивился сам Матвей Мартыныч. Он резко остановил лошадь.

—Анночка, что ты здесь делаешь? И-с ванной?

Он быстро подбежал, проваливаясь на ходу в снег сугроба.

Его квадратное лицо покраснелось от мороза, на усах ледяшки, глаза живы и возбужденны.

—...Сама на себе тащишь эту ванну?

Анна объяснила. Он взял ее руки, стал греть в своих рукавицах. Голос его вдруг дрогнул.

—Анночка, ты от нас ушла... знаю, я ничего тебе не говорю, Анночка. Я все и-хотел к тебе захватить, да Марта говорит: ну, ушла, значит, мы ей не нужны.

—Я ушла не потому. Я тете говорила.

—Ну, знаю, знаю.

Анна устало села на край ванны.

—Я ничего против вас сделать не хотела...

—Ах, что тут сказать... ты молодая девушка, он и-всегда девушкам нравился.

Матвей Мартыныч говорил быстро, смесь волнения, грусти и почти даже восторга сквозила на его простом лице — он действительно рад был встретить Анну, это она чувствовала.

—Ладно, ладно, — говорил впопыхах, — эту ванную мы сейчас на мои санки, я коня повертаю, что тут поделаешь, я тебя у Машистово вполне доставлю.

И действительно, через несколько минут погрузили они ванну, конь рванул, и не без труда, храпя, фыркая, чуть не порвав шлеи, вынес на изволок.

Матвей Мартыныч посадил Анну на облучок, сам шел рядом и все держал ее руку. Он был очень взволнован. Говорил торопливо, маленькие его глазки сверкали, иногда видела в них Анна, глядевшая: пристально и внимательно, даже нечто похожее на слезу.

—Я без тебя совсем соскучился... даже я не думал, что так привязался... Я все хожу, все по свиньям хожу, и все думаю: где-то моя Анночка? Ну, конечно, я понимаю... А я хожу по свиньям, то я и думаю: почему она не меня любит?

Анна усмехнулась.

—Что вы говорите... Что бы это было, дядя! Уж и теперь Марта...

—Ну, конечно дело, Марточка моя супруга, я ведь и не говорю, я честный латыш, всегда был честный, а все ж таки в голове мысли...

—Мысли надо гнать, — сказала Анна. — Мало ли у кого какие мысли.

ПУТЬ

Марья Михайловна сидела в столовой у стола. Анна за самоваром. В окне бледно синели сумерки. Дальние снега смывались в них и как бы таяли.

От самоварного пара окно стало слегка запотевать. Угли краснели сквозь решеточку медного поддувала.

Передав чашку Марье Михайловне, Анна правой рукой взяла со стола большой конверт, повертела его, опять положила. Глаза ее были красны.

—Этот пакет пришел третьего дня. Все тут и валяется. Знаете, что в нем?

Марья Михайловна подняла глаза.

—Нет.

—Тульская консистория извещает Аркадия Ивановича, что развод окончен.

Она чуть-чуть усмехнулась.

—Мы могли бы теперь обвенчаться.

Она зажгла спичку, закурила, минуту помолчала. Огонек отсвечивал в углах глаз, где остановилось по слезе.

— Я давно чувствовала... а когда вы велели его остричь, и совсем поняла. Он для меня стриженный стал немножко другим... вроде какого-то бедного татарина. Я все на него смотрела и думала: «Это вот он и есть, Аркаша, кого люблю».

Она встала, подошла к полуоткрытой двери, при. слушалась. В доме было тихо. Но особая, нечеловеческая тишина шла из этой комнаты.

Анна вернулась.

—Он был со мной как ласков! Знаете, по ночам, когда так ужасно задыхался... несмотря на эта ванны! — я ему растирала грудь, спину... будто легче становилось. Он все мне руку целовал, и так глядел на меня... Еще третьего дня, я подошла, он взял мою руку, поднес к глазам, стал по векам водить. Что это он хотел выразить? А мне сказал, тихо, но внятно: «Я очень рад, что ты здесь, со мною. Я... тебя, — Анна запнулась, — очень люблю».

—Слава Богу, что вы могли с ним теперь быть.

—Да. Я и всегда с ним буду... Да, он еще говорил, раза два, знаете, его любимое, он и здоровый это повторял нередко: «не судите, да не судимы будете». Он все считал себя большим грешником и что его пожалеть надо.

Вошла Арина.

—Ну, что, Анна Ивановна, я Семену говорю: дядя Семен, там сосна-то у вас срезана и досточки напилены, попроси мужичков, поклонись, что, мол,

уступите нам для гробика. Он хоть барин длинный был, на него, конечно, доска идет порядочная, да и ведь и сосенка-то из ейного же сада. Понятно, сад теперь общественный, а вы, мол, все-таки уважьте. Ну,

ничего, уважили. Дядя Семен гробок ладит. Даже завтра пойдут могилу рыть.

—Его не только ваши, а и по округе мужики любили, — сказала Марья Михайловна. — Все жалеют.

—А чего он злого делал? За что его не любить? Настоящий барин, видный...

Арина слегка сапнула носом.

—Раньше своих лет-скончались...

Анна встала, направилась в его комнату. Арина кивнула на нее.

—Ну, как же так не убиваться... Жениться хотел, честь честью...

Анна довольно долго пробыла там. Когда возвращалась, в столовой было почти темно. Самовар скупно бурлил. Краснели его угольки.

— Я опять у вас переночую, — сказала Марья Михайловна.

— Благодарю вас.

И они провели вместе этот зимний вечер. В комнате Аркадия Иваныча зажглись две свечи, а они долго сидели в той же столовой, затопив голландку и не зажигая огня. Анна не закрыла дверец печки, и веселый, красно-золотой огонь танцевал, прыгал по поленьям, дрожал пятнами по железному листу, по полу, обоям. Говорили мало. Обменивались несколькими словами. Вспоминали ушедшие мелочи.

Взошел месяц. Его светлые ковры, полные легкого дыма, легли из окна, медленно переползали по полу, одели угол стола, спустились по ножкам, подбирались к шахматному столику в простенке.

Около полуночи Марья Михайловна объявила, что пора спать.

—Вам надо именно заснуть, — сказала она Анне.

Потом обняла ее, прижалась полной щекой к ее шее, шепнула:

—Я знаю, я все знаю... Все-таки надо силы беречь. Я вам дам снотворного.

—Хорошо, — покорно ответила Анна. — Но перед сном мне хочется пройтись. Я вернусь скоро.

И, надев шубейку, вышла в сени.

Дверь, как и тогда, когда впервые, с чемоданчиком вошла она в этот дом, была незаперта. Но теперь это не удивило и не огорчило ее.

Она пошла по дорожке, протоптанной в саду по тому краю, откуда снег сдувало, его было тут немного. Слабо, но таинственно гудели березы, окаймлявшие четырехугольник фруктового сада. Анна дошла до конца. Дальше начиналось поле с дорогой у самой канавы.

Тусклое поле сияло, мрело в бледно-опаловом свете. Месяц в радужном кольце недосыгаемо бежал за облаками.

—Выло тихо. Лишь собака очень, очень далеко, точно с того света, глухо лаяла. Ясно виднелся парк Серебряного и лес направо.

Анне стало немного холодно. Не отдавая себе отчета, она обернулась. В доме светилось одно окошко.

...Может быть, он был и тут, в этом лунном дыму, может быть, чтобы достать, достигнуть до него, разлившегося неведомым светом, надо еще куда-

то дальше пройти, в неизвестную комнату...

Донеслось поскрипывание полозьев. Анна вновь перевела взор на дорогу. Так когда-то ждала она его у сада в Мартыновке, осенью, но тогда слабо позвякивали дрожки. Теперь все яснее скрипели розвальни. Была видна уже лошадь, шедшая средней рысью. Анна спустилась на дорогу. Лошадь вдруг захрапела, заиграла ушами и перешла на шаг. Потом боязливо остановилась. Лежавший в розвальнях человек в тулупе с поднятым воротником очнулся и сел.

—Фу-ты ну-ты... это куда же нас занесло?

Он тронул лошадь вожжой и обратился к Анне:

—А ты что за фигура?

—Да ничего. Просто стою.

—Вижу, что стоишь... Фу, дьявольщина, задремал... да где мы это?

Выселки, что ли?

—Нет. Машистово. Здесь барский сад, а там деревня.

Человек откинул ворот тулупа, обтер короткие усы, окончательно очухался и полез доставать папиросу.

—Значит, тут Аркадий Иванов живет?

—Да, — ответила Анна. — Жил. Он вчера умер.

—Умер! Скажи пожалуйста!

На проезжего это произвело неприятное впечатление. Он быстро чиркнул спичкой, сделав руки корабликом, зажег в них папиросу и взялся за рукавицы. Теперь Анна довольно ясно разглядела над короткими усами широкий нос и маленькие, острые глаза.

—А ты кто? — спросила она.

Он тронул вожжи, ухмыльнулся.

—Помер!! А я к нему все собирался. Я и тебя теперь знаю... латышова племяшка...

—Как тебя звать? — крикнула Анна, сама не зная почему.

Лошадь шла уже рысью. Проезжий обернулся и захохотал.

—Чай, не Новый год! Ну, изволь: Трофимов,

И стегнул коня. Анна постояла, медленно пошла домой. «Трушка, тот, что зарезал ефремовскую барыню!»

ОТЧИЙ ДОМ

Маленький Мартын сидел около кровати, устраивая вокруг особый свой мир. Тут была и ферма, и коровы, барашки, палисадник, который можно было раздвинуть так и этак, деревья — из них получалось, по желанию, и рощица, и ограда усадьбы. Мартын, мальчик спокойный, росший одиноко, жил очень хорошо созиданием и разрушением своих миров. Зимнее солнце ложилось на пестрое стеганое одеяло родительской кровати. На полу он воспроизводил то, что успел увидеть в жизни, — играл основательно, добропорядочно, как полагалось молодому Гайлису.

Хлопнула дверь в сенцах. Потянуло холодом. Марта внесла ведро воды, тяжко поставила в кухне на пол. Матвей Мартыныч в вязаной

фуфайке чинил хомут. Он сидел у стола, слегка сопел, фуфайка его теплилась в солнечных лучах, но не так горела, как пестрое одеяло над Мартыном и его подушками.

—Марточка, ты посмотри, какой у нас Мартынчик умный: он себе и сидит, и все хозяйство играет, вот он вырастет, и то это будет такой дельный латыш, он забьет и папашу и мамашу.

—Мамаша и так, верно, ноги протянет, — сказала Марта, снимая кофту. — Коровы, свиньи, воду таскай... вчера ночью как сердце замирало.

Марта, действительно, имела вид неважный — еще худее и жилистей, чем обычно.

—Я же, конечно, понимаю... — Матвей Мартыныч туго стянул шов дратвой. — Без Анночки тебе и-плохо...

Марта ничего не ответила, устало принялась засучивать рукава.

—Мне намедни мужики говорили, но и там, на деревне... мол, Анна теперича у Конченки, у докторши приютилась, и что же это вы, латыши, свою девку в чужих людях оставляете...

Марта перевела на мужа холодный взор. Потом подошла к сыну, молча, страстно его поцеловала. Мальчик обнял ее за шею, деловито обхватил ногами талию.

—Я так считаю, — продолжал Матвей Мартыныч, — да и что ей теперь у докторши у этой делать? Аркадий Иваныч померши, все, глупости конец, а мы ей и-все-таки свои. Она, понятно, тебе то-се-другое дома подмогала бы...

Марта высоко подняла Мартына, солнце пробежало по ним обоим лучом мгновенным и золотистым. Она поставила сына на пол. Зеленоватые ее глаза блеснули.

—Ладно. Я сама поеду. Мне как раз и к докторше надо. От этих тяжестей еще Бог знает чего наживешь.

Матвей Мартыныч знал, что у нее женская болезнь и что, конечно, ей пора лечиться. Правильно было и то, что, если Марта за ней приедет, Анна скорее вернется. И, тем не менее, он предпочел бы съездить сам. Возражать, впрочем, не стал.

После обеда запряг лошадь в пошевни. Марта надела тулуп, рукавицы, взяла кнут и уселась поудобнее. Ноги закутал он ей тяжелым бараньим одеялом.

День был морозный, лошадь в инее, синие тени ложились от саней, от высокой фигуры Марты. Снег скрипел. Лошадь казалась лиловой. Ровной рысью вывезла она Марту, как истукана, мимо цинкового подвала из усадьбы в сверкавшее снегом поле. В таком поле в январский солнечный день слепнут глаза!

Матвей же Мартыныч остался один. Он был уверен в мудрости сына и позволил ему в одиночестве играть у постели. А сам взял двустволку, лыжи и отправился по зайчикам. Еще совсем недавно так же мог бы выйти и Аркадий Иваныч, но сейчас он безмолвно лежал в могиле близ церкви

Серебряного, а Матвей Мартыныч благодаря его смерти испытывал странно-противоречивое чувство: искренно его жалел, не меньше того искренно волновался, что теперь вернется Анна. «Марточка ее привезет, это, конечно, что привезет, тут и сказать нечего, вечером Диночка будет здесь», — размышлял он, шагая на мохнатых лыжах, подбитых оленьим мехом, по горящему насту. Миллионы алмазиков струились и переливались в нем, режа глаз. Стеклянно-зеленое небо вставало над ложком, весь он был в синей тени. Шуршали коричневые листья дубов, кое-где уцелевшие. Матвей Мартыныч, всматриваясь в серебряные цепочки следов, держа двустволку наперевес (в том ореховом кусте отлично мог залечь беляк), был полон во всем нем разлитого волнения-счастья. Беляка в кусте не оказалось. Матвей Мартыныч пошел вверх подъемом лога — тут олений мех помогал лыжам, они не скользили назад. И когда выбрался на край, вся сияющая, слепящая в солнце снежная страна ему открылась, с зеленоледяным небом над нею, с ломким и как бы хрустально-твердым воздухом. С дороги неся скрип саней, остро резал ухо. Но больно не было. Напротив, радостно. Направо Серебряное и Машистово, это неинтересно. А вон туда, где на горизонте голые березы большака, другое дело, там видна ветряная мельница, и за мельницей в ло-жочке Конченка...

Так охотился Матвей Мартыныч, искал будто бы беляков и ничего не нашел, кроме сияющего поля, кроме своего сердца, о котором не думал, но которое не спрашивало его, добропорядочного хозяина и столпа общества, как ему биться: билось по мировым законам плена, по тем самым, что на этих же местах владели Анной.

Нынешний день в Конченке был так же морозен и лучист, как и в Мартыновке. Анна шила на кухне Марьи Михайловны, в небольшом светлом доме с окнами в блистающее поле. Ледяной ветер нес с востока прозрачные уколы. Окно кухни намерзло. Рядом, в комнате Марьи Михайловны, стояла чистая белая кровать, пахло медициной, на стене висел портрет Толстого, под ним открытки Художественного театра. В столовой играли дети — мальчик и девочка. Оттуда виднелась через двор больница. У ее подъезда-несколько мужицких розвальней.

Анна не удивилась, увидев Марту. Правда, она о ней вовсе не думала, но и явление Марты представилось таким простым. Марта, оледенелая и закутанная, ввалилась прямо в сени. Дети высунулись и спрятались. Марья Михайловна была в больнице.

— Ну вот, — сказала Марта, присев в столовой и снимая рукавицы около печки. — И я пожаловала. Где же твоя докторша?

Анна объяснила.

— Дойду и в больницу. Мне и там есть дело.

Анна задала несколько вопросов о Мартыновке.

Марта ответила спокойно и деловито. Помолчали.

— Что ж ты тут, так и поселиться собралась?

— Нет, не знаю. Пока, временно.

—Ну, а дальше?

Анна не ответила. Побелевшие от мороза щеки Марты оттаивали, но вся ее худая, сильная фигура понижала температуру. Анна ощущала равнодушие и покорность.

Марта объяснила, что за ней именно и приехала. Анна держала на коленях, скрещенными, большие красные руки. На них в задумчивости устремлен был взгляд темных глаз.

Марта держалась так деловито, уверенно, прохладно, что Анне представилось — вот ее, Анну, просто снесут, положат в сани, сани же пойдут куда приказано... и так уж и надо.

Марья Михайловна в больнице тоже не весьма удивилась Марте. Добросовестно ее осмотрела, добросовестно дала лекарств, велела приезжать еженедельно. И лишь когда вернулась с ней домой и увидела Анну, как бы грусть прошла в ее глазах.

—Так скоро? Нынче? Что вам торопиться?

—Нет, уж сразу, — отвечала Анна. — Едем.

И через час две закутанные женские фигуры заседали в пошевнях, которые бодро вез, посапывая и похрапывая, сидя в инее, намерзавшем у него даже в ноздрях, конь Матвея Мартыныча. К Мартыновке подъезжали в мглистом закате, когда солнце развело последние свои туманно-багровые пожарища, а в низинах уже залегал сизый, плотный сумрак. Зима, холод, Мартыновна, все это было для Анны такое лее, как и всегда.

У подъезда встретил их Матвей Мартыныч.

— Анночка приехала! Ну я же так и знал, что приедет. Я так и говорил.

Ошибиться он не мог. Анна равнодушно вылезла из саней.

* * *

В ее отсутствие для поросят отвели особый чуланчик, более теплый и светлый — одной стеной он примыкал к дому. Дети Люции и погибшей Матрены населяли его. Они попали теперь вновь в заведование Анны. Из розово-глянцевитых обратились в живых, вострых хрячков и свинок, погрубели, обросли жестковатыми волосами, указывавшими на принадлежность их к низкому царству. Когда Анна вносила им в ведре дымившееся пойло и выливала в корыто, они визжали, радостно бросались к ее ногам, друг друга же расталкивали не без наглости. В этом бойком свином юношестве Анна не могла уж различить, кто от Люции, кто от Матрены, да они и сами все забыли. Недалек был час, когда сын Люции с не совсем честными намерениями подошел бы к матери.

Анну, впрочем, не весьма это занимало. Безразлична она была и к выражениям радости своих питомцев. Пищу носила им добросовестно и убирала, чистила, что надо. Вообще, жила обычно. Так же рано вставала, так же после ужина подымалась к себе в комнатку встречать наедине ночь. Над ее постелью висела фотография Аркадия Иваныча, захваченная из Машистова, с надписью, уже ослабшею рукой: «Анне, на вечную память».

Она ложилась на свою постель как бы у его ног. Она не могла пойти в

Машистово и увидеть его. Не он покоился сейчас, под нараставшим снегом, на кладбище Серебряного. Но все же он был тут. Не менее громадный, даже более. Да, он не мог уже теперь ни изменять ей, ни быть верным. Занимал какие-то таинственные, грозные высоты. Рассмотреть их и понять было нельзя. Господь давал ей чувствовать страшные свои тайны.

— Все Анночка скучает, — говорил Матвей Мартыныч Марте. — Значит, все забыть не может...

Марта не особенно поддерживала такие разговоры. Матвею же Мартынычу не очень сладок был мрак Анны. Странное его волнение росло.

— Анночка, — сказал он ей однажды, около колодца, когда Марта не было поблизости, — что ты? Еще такая молодая, чего тебе там... Другого полюбишь, и тебя всякий полюбит. Ну и умер Аркадий Иваныч, да ведь все помрем, а пока что ты же и у своих, и, слава Богу, все ничего, бедности нету, и разве мы с тобой плохо обращаемся? — Нет, — отвечала Анна, — я довольна. Ты ко мне всегда хорош был. — Она чуть улыбнулась.

— Чем не хорош! Я завсегда о тебе думаю... Ну, конечно, будь я молодой, холостой... Я все понимаю, я умный латыш, Анночка. Мне недавно Марта говорит: ты какой стал, я знаю, у тебя все свое на уме... И даже заплакала. А что у меня на уме, я совсем неглупый, я теперь большее не о свиней, а о тебе думаю.

Анна вытащила из обледенелого колодца бадью, вылила в ведро, сильной рукой подняла его и двинулась. Потом остановилась.

— Ты Марту не трогай. Особенно Марту. Не обижай. А то тебе же хуже будет.

Матвей Мартыныч удивленно взглянул на нее из-под ушастой зимней шапки.

— Я и не собираюсь Марточку обижать...

— Собираешься не собираешься, — серьезно и как-то медлительно сказала Анна, — ты не знаешь. Ты сам многого не знаешь. Вот и берегись.

Эти слова произвели странное, какое-то смутное впечатление на Матвея Мартыныча. Целый день сидели они в нем, и день казался непокойным, не совсем обычным. Лежа вечером на супружеской постели рядом с Мартой, в темноте зимней ночи вдруг ощутил он страх, какую-то тоску... «И чего это она? Чего она говорит?» Вспоминая сейчас Анну, он испытывал, как всегда, сладкое волнение, но и другое... — Мрак, ночь, вот часы тикают, Марта во сне неровно дышит... «Анночка как туча... А я Марточку вовсе не собираюсь обижать, что такое, — думал он почти с раздражением. — Чего она меня учит? Я всю жизнь честно с Марточкой прожил...» Заснуть ему было трудно. Ветер гудел. Ночь разверзалась. Не было предела ее мраку.

Утром Марта встала кислая, с болями в пояснице. Она собиралась к докторше. Был сырой день, сильный ветер гнал с юга оттепель. Небо в темных облаках почти лежало на земле. По двору сразу забурели тропки,

вороны летали против ветра зигзагами, садились на скользких ветвях, тужились, каркали, и ветер взлохмачивал тусклый пух на их брюхах.

Цвет лица Марты, выражение ее глаз, круги под ними, замызганная свита, которую она надела, все очень шло к сумрачному дню. Влага его еще сильнее развела все свиные запахи в Мартыновке. Когда пошевни Марты скрылись за поворотом и Анна понесла пойло пороссятам, мягкая теплота и кислота его особенно пронзили ее. Особенно осклизло было и в хлеву у пороссят. И они сами, в бессмысленно-животной жадности своей, показались особо мерзкими. Анна прислонилась к стенке. Ее несколько мутило. Она вспоминала о Марте — и ясно представила себе тусклое поле с ухабистой, сырой дорогой, ныряют пошевни, и каждый ухаб, наверно, отдается в утробе Марты... Нет, она ехать сейчас в Конченку вовсе бы не хотела. В этих бурных полях, оттепельно-предвесенних, с ума можно сойти. «Впрочем, — подумала Анна, — я, может быть, и вообще уже сумасшедшая». Она улыбнулась. Ей приятно стало, что ничто не связывает ее с этим хлевом, с кислым запахом, с воронами, Матвеем Мартынычем.

— Анночка, — крикнул Матвей Мартыныч, — поди, пожалуйста, помоги мне сундучок тут...

Сундук с вещами Немешаевых стоял у него в сарайчике. Теперь, из-за сырой погоды, он надумал перетащить его в подвал с цинковой крышей, где, считал, сырости быть не может, и вообще надежнее.

— Ты, Анночка, понимаешь... вещи чужие, время такое... Одно-два бревнышка выпилил, вот и уже ты в сарайчике. Ну, тут буде потрудней... У Матвея Мартыныча подвал знатный. Тут не подкопаешься... Разве что миной взрывать.

Сундук был не очень легкий. Он постукивал, погромыхивал и по ступенькам подвала, когда Анна с Матвеем Мартынычем волокли его туда. Внизу горела уже лампа. Под цементными сводами, гордостью Мартыновки, было, действительно, не сыро, и в том месте, где стояла лампа-молния, даже светло. Вдаль к углам шли тени. В аккуратных закромах лежал корм свиньям — картофель, горы свеклы, темные, вязкие как бы пряники жмыха.

— Ну вот и хорошо, что принесли, — говорил Матвей Мартыныч, отирая пот. — Вот мы немножки теперь вынем и развесим, надо бы перетряхнуть, чтобы не слеживалось, чтобы все и-в порядке было.

Анна стала вынимать вещи. К запаху картофеля и свеклы прибавился нафталин и еще нежный запах дорогих мехов.

— Хорошо жили, важно жили, — говорил Матвей Мартыныч, вынимая шубу покойного Александра Андреича. — Барская жизнь, и все и-кончилось. Но Матвей Мартыныч не завидует, он честно все сбережет, вот он и старается, чтобы не смялось, не слежалось чужое добро, потому что он добро любит, он не мошенник какой-нибудь...

«Александра Андреича давно нет в живых, — думала Анна, перебирая руками драгоценный, черно-блестящий, с нежными длинными ворсинками мех шубы. — Он лежит там же, на кладбище Серебряного,

где и Аркадий... Они были приятели».

— Анночка, а я смотрю, жмыха у нас маловато, надо будет мне и съездить...

Матвей Мартыныч озабоченно отошел в угол, едва освещаемый лампой. Тень его бессмысленно перемещалась по стенам и сводам, принимая уродливые очертанья.

Анна накинула на себя шубу. Как она легка, . изящна! мех мягко ласкал щеку. «Такая же, наверно, была и у Аркаши. И они вместе в Москву ездили. Александр Андреич тоже любил цыган». Анна на мгновение закрыла глаза. Точно знакомое и милое объятие из иной жизни обняло ее.

«Они оба лежат в Серебряном, но это не они. Где они?»

Ей казалось сейчас, сквозь закрытые глаза, с этим мехом, что и она другая, сама она не тут. Она сделала два шага вперед. Если вот так идти...

— Анночка, тебе как хорошо и в этой шубе...

Матвей Мартыныч подошел — ее глаза были уже открыты. Он взял концы рукавов и скрестил их на Анне.

— Если бы Матвей Мартыныч был богат, он бы и тебе такую шубку сделал.

— А Марте?

— Ну и Марточке бы, конечно... Анночка, ты и в этой шубе словно как царица...

— Ты цариц никогда не видел, — сказала Анна смутно, отсутствующе.

— И царицы хлевов не чистят.

— Анночка, я же знаю, что тебе здесь тяжело, я-и все знаю... Ты прямо живешь через силу. Дай срок. Дай время. Матвей Мартыныч разбогатеет. Если со свинушками мешать будут эти разные советы и коммунисты, Матвей Мартыныч найдет... Он к себе уедет в свободную Латвию, что надо распродаст и там свое дело откроет. Он будет богат. Он тебя не забудет, Анночка, ты такая молодая и красивая...

— Мне никогда Аркадий не говорил, что я красивая. Он меня просто любил.

— Он не говорил — его дело. А я говорю.

— Я была с ним счастлива, ты понимаешь, медвежатина?

Все не снимая своей шубы, Анна присела на край закрома.

— У меня в столе лежит бумага Тульской консистории. Нас должны были уже повенчать — развод кончился. Ну, вот он умер, я опять у вас... что это значит?

Матвей Мартыныч подошел и припал к ней.

— Анночка, не грусти...

— Он со мной постоянно. Почему я не могла с ним жить? Где он сейчас? Куда он делся? Знаешь, его и нет, и он и есть... А ты что? Ты ко мне привалился, тебе так теплее?

Анна вдруг сняла его ушастую шапку и стала гладить рукой по его

волосам.

— Ты меня любишь? И такую шубу подарить обещал... Руки целуешь, грудь целуешь... ах ты, медвежatina. От тебя тепло, ты хороший пес, шерстистый.

Матвей Мартыныч стал задыхаться.

— Захотел меня ласкать...

Анна поднялась, потянулась. Легкая судорога прошла по ее сильному телу. Она прижала к себе Матвея Мартыныча, потом легко и равнодушно оттолкнула.

— Анночка...

— Давай вещи собирать, — сурово сказала она. — Чего разнежился?

И, сняв с себя шубу, тщательно стала укладывать ее обратно в сундук,

* * *

— Ну как, Марточка, как и-съездила? — спросил Матвей Мартыныч.

— Ничего. А ты что делал?

— Так, того-другого по хозяйству... Вот мы с Анночкой немешаевски вещи перебрали...

Марта взглянула на него внимательно. Он отвел глаза, поспешно продолжал:

— Мы сундучок вниз поставили, у подвал... Как там посуше, то мы и поставили. Да, ты знаешь, Марточка, жмыха у нас маловато там... и-прямо маловато.

Разговор этот происходил на дворе, когда Матвей Мартыныч отпрягал лошадь. Вот он снял с нее хомут, шлею, накинул обратку и повел в стойло. Марта не отходила от саней. Потом пошла в кухню и через несколько минут вышла с ключами и зажженным фонарем. Облака тьмы уже сгустились. Она встретила Матвея Мартыныча около подвала.

— Ты куда?

— Пойдем поглядим, сколько жмыха.

— Я же ведь и-сказал, что мало. Мне придется опять в Гавриково ехать.

— Пойдем. Я хочу посмотреть, как вы там сундук убрали.

Звук ее голоса показался Матвею Мартынычу странным.

— Да что убрали... так и поставили.

Но Марта, держа перед собою фонарь, уже спускалась по лесенке. Тогда и он за ней направился.

— Я сегодня у докторши Похлѣбкина видела, — сказала Марта, когда они спустились. — Он прямо говорит: никакой нет возможности вас отстоять. Как

вам угодно, а на днях нагрянем, и чтобы свинухов ваших ни слуху, ни духу.

— Так прямо и сказал...

— Так и сказал.

Матвей Мартыныч помялся.

—Значит, опять надо у город ехать, ну, уж теперь к Ивану Кузьмичу, долларов с собой заберу, что тут поделаешь...

—Жизнь проклятая, — сказала Марта. — Для чего старались? Только болезнь себе нажила, за свиньями за этими. Вещи! Ну где же тут вещи оставлять? Надо еще куда-нибудь прятать. Сюда, понятно, с обыском в первую голову придут...

Подойдя к сундуку, Марта остановилась. На земляном полу, несколько вытоптанном в этом месте, валялся носовой платок. Марта нагнулась и подняла его. Она вдруг побледнела.

—Это Аннин платок.

Матвей Мартыныч как-то неверно двинулся.

—Должно быть, что и обронила Анночка...

Марта опять нагнулась, стала фонарем освещать пол.

—Вы тут сидели... вы тут вдвоем сидели, — сказала она глухо. — Что вы...

Матвей Мартыныч встрепенулся. Виноватые глаза, перебежавшие со свеклы к жмыху, решили Дело. Лицо Марты мелко задрожало.

—Я больная, мне, может, операцию будут делать...

— Марточка, да что ты... Ну мы просто тут присели, потому что были от сундука уставши.

Марта поднесла фонарь к носу мужа, еще раз увидела его презренные, как ей казалось, глаза совсем вблизи — и плюнула ему прямо в лицо.

Матвей Мартыныч охнул и откинулся назад.

ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ

Было около пяти. Дымно-сырой день, снежинка слегка перепархивали. Близилась свинцовая синева сумерек. Анна лежала у себя на постели. В беловатой мгле комнатки с левой стороны окно струило последние дыхания дня. В их смутности, млечном тумане можно было еще рассмотреть справа, над, кроватью, фотографию человека с длинными усами, еще можно было прочесть загробные слова: «Анне, на вечную память». Но вот-вот все это будет замыто ночью.

Оцепенение владело все эти дни Анной. Она даже меньше работала. И сейчас — вовсе не в урочный час лежала в своей комнатке. Она бессмысленно смотрела в окно. Там виднелись верхушки яблонь да снег, дорога вдоль сада, по ней уехал Матвей Мартыныч в город, за жмыхами и в последней попытке отстоять свое добро. А сейчас кто-то едет сюда. Где теперь Матвей Мартыныч? Верно, разглагольствует где-нибудь в городе, доказывает. Может, чаек тянет с блюдечка. Вспомнив подвал, Анна слегка потянулась, так что скрипнула даже постель. Потом легкая улыбка прошла по ее лицу. «Медвежатина... неужели и таких любят?» Но она помнила его объятие, и в улыбке ее была и насмешка, и сочувствие. Душевно ей было все равно. Ее повелитель, со своими длинными усами, начинал уже тонуть на стене в сумерках. Но в темной глубине тела был и теплый ответ. «Дрянь я перед

Мартою или не дрянью? — подумала она. — Ведь не я же к нему лезу... да и что мне в нем!» Но ей все-таки нравилось, вечным, неистребимым чувством женщины, что она им владеет.

Внизу заскрипели сани. Видимо, ехавший по дороге оказался у них. Дверь хлопнула, мужской голос говорил что-то Марте. Слов Анна расслышать не могла. Но по тону чувствовала, что хорошего тут мало. Марта в последнее время почти с ней не разговаривала, так что спускаться не хотелось. И Анна продолжала лежать. Она уже перестала думать о Марте, Матвее Мартыныче. Открывала глаза, иногда вновь закрывала их. Разница между миром этим и тем становилась все меньше — лишь белесое пятно окна давало о себе знать. При закрытых же глазах золотые точки наполняли темный фон, плыли в нем. Иногда появлялись рожи. Или вдруг разрывался светлый сноп. Эти снопы казались Анне обликом смерти. Она считала, что именно такова и должна быть смерть: р-раз, взорвется, и дальше... что? Этого никогда, за всю свою жизнь, понять она не могла. Не понимала и теперь. Но ее влекло к этому грозному миру. Так и сейчас. Под темноту, под говор снизу залетала она в него.

Опять хлопнула дверь, заскрипели сани. «Не хочу я ничего делать, не двинусь», — думала Анна. И не знала сама, почему так думает. Но было крепко ощущение того, что происходит нечто необычное.

—Анна! — крикнула снизу Марта.

—Я.

—Ты что там делаешь?

—Ничего.

Некоторое время Марта молчала. Слышно было, как Мартын подхлестывает кнутом своих детских лошадок. Потом Марта поднялась по лесенке. Она остановилась на пороге. Станным образом Анна довольно ясно видела худую, сухую фигуру. Всегдашний холодок прошел у нее по сердцу.

— Был Гаврюшка из Серебряного. Приехали из города, нынче в Серебряном ночуют, а завтра утром к нам, и всех свиной заберут. Так Похлёбкин велел передать.

Анна приподнялась и свесила ноги.

—Что же теперь?

Марта крепко держалась за рукоятку двери.

—Не отдам я свиной...

—Приедут, — сумрачно сказала Анна, — так отдашь.

—Не отдам,

—Что же ты будешь делать?

—Всех зарежу, не отдам.

Анна молчала,

—Ты тут валяешься, лодырничает, ты, вместо чтобы по подвалам шляться... — Марта задохнулась, — лучше бы мне подмогла.

Она протянула руку к комоду, нашла спички и чиркнула. Руки ее были непокойны, когда она зажигала свечку.

Ее лицо поразило Анну. Теперь, при свете, оно как бы отдавало все, что скопилось в худом теле с большой грудью за мрачные дни, тревожные ночи.

Увидев маниакальный блеск ее глаз, Анна тоже ощутила нервный ток, волною пробежавший по ней. «Зарежет, да, непременно зарежет».

—Мы с Матвеем столько работали, наживали... не такая буду дура отдавать.

—Куда же ты их денешь? — спросила Анна.

Марта молча подошла к окну, открыла форточку и высунула руку. На ладони ее стали таять снежинки,

—Что смогу, светом увезу в город. Остальное пока в ложочке зароем, в снегу... Следы заметет.

Анна совсем встала, выпрямилась. Ей было глубоко безразлично хозяйство, богатство, свиньи. Но сейчас она не могла лежать. Туманная сила, точно зажженная кем-то, подымалась в ней.

—Что ж, — сказала она. — Так и так. Тогда ждать нечего.

—Они сейчас не приедут, там, в Серебряном, ревизия. А потом их напоят, самогона у Похлёбкина достаточно. Мы управимся.

—Понятно.

Анна глубоко вздохнула, взяла с комода коробочку с булавками, поиграла ею и опять поставила. Марта спустилась вниз. Анна некоторое время бессмысленно глядела на пламя свечи, потом быстро задула его и направилась за Мартой, крепкой, тяжеловатою походкой — лестница заскрипела.

А через полчаса она с Мартой уже направлялась к закутам. Марта несла фонарик. Он бросал вперед тусклое пятно света, в котором непрерывно летели снежинки. Этот снег ложился холодными прикосновениями на руки, лоб, оседал пухом на ресницах. Он заваливал мир своей беззвучной пухлостью. Нож был у Марты. Анна зажгла еще фонарь.

—Без мужчины трудно, — сказала Марта.

—Ничего, управимся.

Каждую свинью, дико визжавшую, приходилось связывать и выволакивать в особую закутку, где стояла лампа. Пол густо устлали соломой. Анна чувствовала в себе страшную силу. Марта молчала. Молча, точной и твердой рукой перерезала горла свинье за свиньей. Анна их потрошила. В перерывах вытаскивали солому, напитанную кровью, жгли ее в печке и клали свежую, чтобы меньше оставалось следов. Убирали и потроха. Палить туши было уже некогда. Анна взваливала их на салазки — и одни везла к розвальням, нарочно вывезенным из сарая, складывала их там. Другие — в сугробное место у канавы сада. Тут поразрыли они с Мартой яму, недалеко от дороги, и туда легло четыре туши. Прикрыла их пятая, Люция. Свалив ее туда, Анна лопатой засыпала яму. Снег продолжал идти.

Она чувствовала то напряжение, когда жить можно только двигаясь. Она могла бы свезти на этих салазках, вдоль этого сада, где сиживала с Аркадием, еще десять туш. Все сейчас было укрыто тьмой. Гудели деревья, светился огонек на хуторе. Не увидишь ни Серебряного, ни мирных нив, ни малого кургана. Анна подняла голову. Лицо ее запотело. Снег воздушно-хладным касанием оседал на нем, таял. Ничего не было видно в беспробудной тьме. Она могла говорить что угодно, как угодно. Лишь Господь, может быть,

преклонил бы к ней ухо.

Она взялась вновь за салазки, повезла их домой. «Мне недолго работать, — прошло в ее голове. — Скоро я отдохну».

В закуте сидела Марта. Перед ней на столике стоял штоф водки, лежал кусок черного хлеба с солью. Нож лежал у стены. На соломе около него кровавое пятно.

—Выпей. — сказала Марта. — Мы одни. Я устала. Я очень разволнована.

Она сказала это со странною усмешкой и протянула Анне стакан. Глаза ее были подернуты мутью. Руки в крови — она наскоро обтерла их.

—Я бы хотела, — продолжала Марта все с той же нервной усмешкой, — чтобы здесь был Матвей Мартыныч...

Анна выпила. Марта не спускала с нее глаз. Она уже захмелела, язык не вполне ей подчинялся.

—Он сильный, это хорошо... Мужчина должен сильный быть.

Она прибавила грубое слово.

—Анка, я тебя знаю. Мало ли что твой помер... ты не такая, тебе другой нужен.

Анна налила себе еще водки. Марта вдруг несколько наклонилась к ней, дыхнула спиртом.

—Только если ты у меня под боком Матвея подобрать вздумаешь, я ни на что не посмотрю.

Марта вдруг изменилась. Лицо ее приняло осмысленно-свирепое выражение. Она протянула руку к ножу. Анна поставила стакан на стол.

—Не боюсь я тебя. Убирайся. Мне и Матвей твой ни на что не нужен.

—А что вы в подвале делали? Почему твой платок там валялся?

—Ничего не делали, — холодно сказала Анна. —Ты эти глупости брось. Я не маленькая.

—Не маленькая...

Марта смотрела на нее пристально. Правду она говорит или нет? А-а, все они умеют врать, мужчины, женщины... Все-таки продолжать Марта не решилась. Они замолчали. Анна съела кусок хлеба с солью. Ей казалось, что он пахнет кровью. Она резко встала.

—Кончать так кончать.

Борова и свинью, а также поросят оставили, это все, что имели право оставить. Еще двух свиней Анна зарезала собственноручно — Марта ослабела. Все время шел снег. Все время ходили по двору с фонарем. Петухи глухо кричали.

Анна не могла бы сказать, из-за чего, собственно, кипела. Но ей страстно хотелось все так сделать, чтобы завтра, когда приедут советские, ничего нельзя было бы ни понять, ни найти. У Марты от напряжения и таскания тяжестей начались боли — она ушла в дом. Анна осталась. Она согрела воды, тщательно замыла следы просочившейся сквозь солому крови, тщательно вылила порозовевшую воду в помойку, засыпала пол опилками, замыла брызги на стенах у двери. Уцелевших свиней перевела в одну закуту, а остальные так вычистила и выскребла, точно там никого и не

было. Двери их оставила настежь, чтобы продуло свежим воздухом.

За этими трудами застало ее утро. Оно упорно выкарабкивалось из аспидно-свинцового мрака. В его белесости пожелтел ночной фонарик. Анна пошла в кухню, долго мыла теплой водой руки, сняла передник и переменила платье. Но руки скоро снова выпачкала, запрягая лошадь Марте. Впрочем, теперь от них пахло лошадьё, ремнями шлеи, запахами мира и безобидности. Марту она с трудом подняла. Закрыв туши сеном, усадив ее сверху, вовремя спровадила в город.

* * *

Маленький Мартын не обращал внимания ни на что. Был ли отец в городе, уехала ли мать, как провела ночь Анна, для него не имело значения. В мире, кажущемся нам огромным, у него существовал счастливый угол. Деревянные лошадки, взвод солдат, пушка, кубики, из которых выходили преинтересные штуки: что могло с этим сравниться? И когда на вопрос, где мама? — Анна ответила, что скоро вернется, он не огорчился и не возражал. Выпив, как обычно, чашку чаю с сахаром и густыми сливками, Расставил на полу свою армию.

Анна же почувствовала необыкновенную усталость. Вот теперь она беззащитна! Не только ничего не может делать, просто двинуться трудно, подняться наверх. Ах, как она разбита! Тело ломит, в голове тьма. Фонарь, визг свиней, кровь... «Наверное, сейчас приедут из Серебряного». Из окон ложился белый бессмертный отсвет снега. «Все занесло, теперь спокойно, им удобно будет ехать». Хорошо в этом снеге лежать.

Она прилегла на диванчике. «Кажется, у меня и сейчас руки кровью пахнут». Анна поднесла ладонь к носу. Нет, пахло просто мылом.

«Хоть бы во сне Аркадия увидеть...» Она закрыла глаза и блаженно улыбнулась. Слеза остановилась под ресницами.

Маленький Мартын открыл огонь из пушки. Солдаты его падали.

ВСТРЕЧА

I

—Марточка, — сказал Матвей Мартыныч, — ты знаешь, мне все что-то холодно, и руки у меня невеселые... Я на себя смотрю, и я думаю: эх, Матвей

Мартыныч, должно быть, ты нездоров. Не простудился ли ты, Матвей Мартыныч?

Марта взяла его за руку и посмотрела прямо в глаза.

—Конечно, болен. Нечего и говорить.

—Я так и подумал, когда мы с тобой из города возвращамшись и обоз обгонявши, я выскочил из саней, по снегу распахнутый бежал, то и распарился. Значить, меня обдуло...

—Вот и ложись. А я всю ту ночь распарившись была, свиные туши таскала, и ничего.

Матвей Мартыныч сел на постель, снял свою куртку. Ему приятно

было, что вот у него жена, сейчас она уложит его, укроет, и он согреется.

—Конечное дело, вы тогда с Анночкой молодцом работали, это что говорить. Так что энти сволоча нис чем остались, А все ж таки свинушек жаль.

Марта сняла с гвоздя тулуп и укрыла им мужа.

—Как не жаль! Ну да хоть что-нибудь за них выручили. А то совсем зря бы пропали.

—Доллара у Матвея Мартыныча труднее отобрать, чем свинушек.

—Марта дала ему горячего чая. Выпил он с удовольствием, и укывшись по самый нос, опустил в туманную дремоту.

Нельзя сказать, чтоб эти дни после истребления своего хозяйства он чувствовал себя особенно радостно, напротив. Но сейчас в увлажненном теплотой и покоем его мозгу представлялись приятные картины: распродав здесь все под шумок, он с Мартою и Анной переезжает границу. Доллары можно запрятать или же в Москве обменять на бриллиантики. Так или иначе — кое-какое добро с собой вывезешь. Граница, Латвия... Там уж никто не тронет. Опять свинок заведем, да там и скорее можно Анночку устроить. Когда дело доходило до «Анночки», Матвей Мартыныч вполне умягчался, хотя в его сердце и являлись противоречивые чувства: здравый смысл говорил, что ее просто надо выдать замуж, но этого не хотелось. Хорошо бы — Марта Мартой, но и Анночка-ка вот пришла бы, и положила бы руку на его горячий лоб. «Анночка любила своего усатого, но теперь его нет, и Матвею Мартынычу нечего мучиться... Матвей Мартыныч сам не хуже Аркадия Ивановича». И под влиянием ли лихорадки, или от тепла и всегдашнего ощущения своей значительности, Матвей Мартыныч мечтал об Анне мажорно. Долго страдать от неразделенной любви он не мог. Все должно было повернуться в его пользу, не могло не повернуться... Если бы его всерьез спросили, может ли он, тяжело заболев, умереть, он отверг бы такой случай. Матвей Мартыныч должен всегда жить, всегда быть бодрым и счастливым.

Теперь он был уверен, что, пропотев, выспавшись, на другой день уже встанет. Но — ошибся. Грипп его оказался довольно сильным. Он не встал ни на следующий, ни на еще следующий день. Пришлось даже съездить за Марьей Михайловной. Она нашла у него осложнение с сердцем. Сердце сильное, опасности нет, но надо лежать — в общем, дело довольно Длинное.

Перед отъездом Марья Михайловна поднялась наверх к Анне. Анна лежала на постели.

— Вы тоже больны? — спросила Марья Михайловна, распространяя свой обычный запах свежести и больницы. — Почему вы лежите?

—Нет, я здорова, — ответила Анна.

—Так что же?

Анна молча посмотрела на нее. Взгляд ее был диковат и пуст. «Какое странное выражение глаз, — подумала Марья Михайловна. — Что с нею?»

—Теперь у нас меньше работы, вы знаете... я не так занята по хозяйству.

Голос ее показался Марье Михайловне хуже обычного.

—И вы ничего не делаете?

—Работаю, конечно... но довольно много лежу здесь.

—Вижу, вижу,

Марья Михайловна покачала головой. Все это не нравилось ей.

— Наживете себе так настоящую неврастению.

Анна внимательно на нее посмотрела, не сразу ответила.

—Я совершенно здорова. Я только много молчу.

Я теперь очень сильная.

«Странная девушка, — думала Марья Михайловна, уезжая. — Всегда мне казалась со странностями, а теперь, после этой смерти, все на одном сосредоточилось...»

Около двух Анна спустилась вниз. Матвей Мартыныч лежал в дремоте. Маленький Мартын забавлялся игрушками. Белесый отсвет снега лежал на всем в комнатах. Анне показалось, что она легче, лучше чувствует себя. Марты не было.

—Ну, как? — спросила она Матвея Мартыныча. — Скоро и на улицу?

—Скоро, Анночка, скоро.

Анна остановилась, хотела было подойти к нему, но раздумала и вышла во двор. Мелкий снежок чуть веялся с неба, и в мягком, отливающим светом, слегка сквозь облака золотящемся небе было уже начало весны. Двор, постройки, деревья, все показалось Анне удивительно пустынным. Она прошла. У ней явилось ощущение, будто впервые она вышла после тяжелой болезни. Мир был прекрасен, беспредельно далек. Анна прошла в яблоневый сад, подняла глаза вверх. В небе сквозь туманные облака недвижно бежало страшное в безмерной своей дали солнце, солнце точно бы иного мира. Анна сказала вслух:

—Аркадий!

Мелкое эхо в лощинке подало:

—Аркадий.

Анна повторила. Эхо еще ответило.

Может быть, она сказала бы: «Я хочу к тебе, Аркадий. Я хочу, Аркадий» — этим всем была полна Анна, но ничего не сказала, молча, в ужасе повернула назад; она без всякого чувства выздоровления, в глубокой тоске приблизилась к дому как раз в минуту, когда Марта вошла в сени, и когда за подвалом с цинковой крышей показались розвальни, Анна увидела их. Мгновенным взором успела разобрать и Трушку в меховой теплой куртке.

—Приехали, — глухо сказала она Марте, затворив дверь на щеколду.

—Кто такие?

—Трушка, известный... разве не знаешь?.. И с ним двое.

Матвей Мартыныч завозился в своей комнате. Он был очень слаб.

—Кто там приехал... Анночка, чего ты?

Анна вошла к нему в комнату.

—Где кольт?

—Зачем тебе...

Анна оглянулась, решительно отодвинула верхний ящик комода.

—Трушка зря не ездит. Знаешь его.

И, положив тяжелый кольт в карман полушубка, дулом вниз, направилась к выходу.

—Я с ним сама поговорю.

* * *

Трушка шел на своих крепких, несколько кривых ногах к дому Матвея Мартыныча. Двое других неторопливо привязывали лошадь. Трушка знал, что Матвей Мартыныч успел сбывать свиней, что вообще он все распродает, у него есть деньги, что сейчас он нездоров. Трушка был вполне спокоен. Он считал, что сюда можно было бы ехать и одному. Поэтому не стал ждать сотоварищей.

Он не удивился, когда навстречу ему вышла молодая девушка в полушубке. Трушка тотчас узнал в ней ту, кого в морозную лунную ночь встретил у берез машистовского сада. Он был настроен почти даже дружелюбно. Правда, в кармане его меховой куртки лежал браунинг. Но он не взялся за него, а по привычке громко сказал слова, столько раз оказывавшие изумительное свое действие:

—Руки вверх!

И только что произнес, по лицу и темным глазам встреченной почувствовал, что все не так. Он не успел даже додумать, что не так, как прямо в лицо ему блеснул огонь. Тяжелый, длинный удар схлестнул его. Он схватился за живот, упал прямо на снег.

—К Аркадию за этим шел, и к нам...

Анна держала кольт дулом вниз. Глаза ее блестели. Она тяжело дышала, не могла двинуться. В пяти шагах ничком бился на снегу Трушка. Ему все хотелось вытащить из кармана браунинг, но боль, слабость, смертная тошнота заливали — топчась головою в снег, судорожно хватаясь руками за землю, описывал он по снегу полукруг.

* * *

—Марточка, стреляют!

Матвей Мартыныч в одном белье соскочил с кровати.

—Лежи, куда ты...

Марта с двустволкою стояла в столовой. Матвей Мартыныч подскочил к окну.

—Один на снегу, Анночка сюда бежит, за нею еще двое...

Раздались снова выстрелы. В дверь постучали.

—Отоприте! — крикнул голое Анны.

Матвей Мартыныч кинулся к двери. Но его охватили руки Марты. Будь Матвей Мартыныч здоров! Но сейчас голова у него закружилась, комната повернулась на оси. Марта без труда кинула его обратно на постель.

—Марточка, они убьют ее!

Он увидел над собой зеленые, бешеные глаза Марты.

В дверь снова застучали. - Дядя!

Марта навалилась на него всем телом. Снаружи раздались выстрелы, тяжкий стон Анны.

МАЙ

Ветер и холода первых дней обдули цветущий сад. Белые лепестки плавали в лужицах, земля влажна, дымится под солнцем. Травка совсем хорошо зазеленела, удивительно сочны золотые одуванчики с молочным соком в стеблях. Дрозды скачут в саду Матвея Мартыныча. Но уже на столе у него нет бланков: «Экономия Матвея Гайлиса». Нет ни свиней, ни даже коровы. Хлевы давно заперты, на дверях цинкового подвала замок.

Посреди двора телега. На ней сидит Леночка. Матвей Мартынович с Костей тащат через двор сундук. Раскачнувши, вскидывают на телегу. Матвей Мартыныч оттирает пот с лица.

—Ну вот и вещички Марьи Гавриловны... вот и вещички. Матвей Мартыныч все сберег. Мало бы чего зимой не было, он все сохранил. Так мамаше и скажите. Да... и как слышно, то и вы сами, и мамаша из этих краев трогаются?

Леночка побалтывает ногами.

—Костя место в Москве получил. Я тоже надеюсь. Да, Матвей Мартыныч, мы уезжаем. Вы ведь тоже?

—Мы тоже, тоже... Нет, Матвей Мартыныч больше здесь не останется. Что тут хорошего для Матвея Мартыныча? А вы думаете, он у Латвии пропадет?

Никогда не пропадет Гайлис у Латвии, он там свинок еще больше разведет, он будет богатый.

Матвей Мартыныч умолкает. Свет милого солнца блестит в его вспотевшем лбу. Поют птицы, нежны облачка в синеве, над полями в сторону Машистова стеклянное струение.

—Матвей Мартыныч был тогда нездоров. Очень от лихорадки ослабши. Он бы Анночки так не отдал.

—Да, — говорит Леночка, — какой ужас!

Слова ее грозны, но карие глаза полны веселья, света. Ее сердце не в могиле Анны, а в благоуханном свете мая. Матвей Мартыныч же сошел под землю. Минуту продолжается безмолвие. Оно полно страшных видений. Потом жизнь возвращается. И как здоровались, так же прощаются. Телега уезжает. Матвей Мартыныч медленно идет домой. Может быть, Анна присутствует? Может быть, вместе присутствуют они с Аркадием, в объятии загробном?

Из всего прежнего в Мартыновке один лишь маленький Мартын все тот же: он играет вновь в свои игрушки, созидает, разрушает созданное, для него все равно — играть ли здесь, или в Москве, или в далекой Латвии.